

Генри Лайон ОЛДИ



Одиссей, сын Лаэрта

Человек Номоса

Древняя Греция

Генри Олди

**Одиссей, сын Лаэрта.
Человек Номоса**

«Автор»

2000

Олди Г. Л.

Одиссей, сын Лаэрта. Человек Номоса / Г. Л. Олди — «Автор»,
2000 — (Древняя Греция)

Я Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Внук Автолика Гермесиды, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, – и Аркесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Правнук молнии и кадуцея. Владыка Итаки, груды соленого камня на самых задворках Ионического моря. Муж заплаканной женщины, что спит сейчас в тишине за спиной; отец младенца, ворочающегося в колыбели. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! я... Вон их сколько, этих «я». И все хотят вернуться. Еще никуда не уехав, они уже хотят вернуться. Так может ли случиться иначе?!

© Олди Г. Л., 2000

© Автор, 2000

Содержание

Итака	8
Песнь первая	15
Строфа-I[3]	15
Антистрофа-I	24
Строфа-II	35
Антистрофа-II	43
Эпод	53
Песнь вторая	56
Строфа-I	56
Антистрофа-I	63
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Генри Лайон Олди

Одиссей, сын Лаërта. Человек Номоса

..Муж, преисполненный козней различных и мудрых советов.
(Илиада. III, 202)

*Когда я вернусь – ты не смейся! —
когда я вернусь...*
А. Галич



Не сравнивайте жизнь со смертью, песнь с плачем, вдох с выдохом и человека с божеством – иначе быть вам тогда подобным Эдипу Фиванскому, слепому в своей зрячести, отце-убийце и любовнику родной матери, добровольно ушедшему в царство мертвых близ роши Эвменид, преследующих грешников, ибо непосилен оказался Эдипу груз бытия.

Не сравнивайте жизнь с жизнью, песнь с песней, вдох со вдохом и человека с человеком – иначе быть вам тогда подобным Тиресию-прорицателю, зрячему в своей слепоте, провидцу света будущего, обреченному на блуждание во мраке настоящего, чья смерть пришла в изгнании и бегстве, близ Тильфусского источника, ибо пережил Тиресий время свое.

Не сравнивайте жизнь с плачем, песнь с божеством, смерть с выдохом и вдох с человеком – иначе быть вам тогда подобным солнечному титану Гелиосу-всевидцу, кому ведомо все под меднокованным куполом небес, но чей путь от восхода к закату, день за днем и год за годом, неизбежней и неизменной грустного жребия хитреца-богообманщика Сизифа: от подножия к вершине, а после от вершины к подножию, и так во веки веков.

Не сравнивайте плач со вдохом, жизнь с песней, выдох с человеком и божество со смертью – иначе быть вам тогда подобным дикому циклопу Полифему-одноглазу, пожирателю плоти, но кол уже заострен, дымится древесина, обжигаясь на огне, и стоит на пороге вечная слепота, когда поздно будет ощупывать руками многочисленных баранов своих.

Не сравнивайте ничего с ничем – и быть вам тогда подобным самому себе, ибо вас тоже ни с чем не сравнят.

А иначе были вы – все равно что не были...

Итака

Западный склон горы Этос; дворцовая терраса (Кифаредический ном)

*Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы...*

А. Ахматова

Я вернусь.
Слышите?..

Они не верят. Никто. Деревья за перилами – каждым листом, каждой каплей ночной росы на этом листе. Птицы на ветвях – каждым озябшим перышком. Небо над птицами – наимельчайшей искоркой во тьме. Не верят. Небо, звезды, птицы, деревья. Море бьется о скалы – не верит. Скалы безмолвно смеются над морем – не верят. Я не осуждаю их. Есть ли у меня право на осуждение, если я и сам-то не верю?

Я знаю.

Я вернусь.

Я, Одиссей, сын Лаërта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Одиссей, внук Автолика Гермесида, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, – и Аркесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Одиссей, владыка Итаки, груды соленого камня на самых задворках Ионического моря. Муж заплаканной женщины, что спит сейчас в тишине за спиной; отец младенца, ворочающегося в колыбели. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! я...

Вон их сколько, этих «я». И все хотят вернуться. Еще никуда не уехав, они уже хотят вернуться. Так может ли случиться иначе?!

Нет.

Не может.

...Над западными утесами болтается неприкаянная звезда. Все остальные звезды оставили ее, бросили на произвол судьбы во тьме полуночи, и зеленый глаз отчаянно подмигивает мне: эй! тля-однодневка! видишь ли?! Вижу. Подмигиваю в ответ. Вино в чаше кислое, пенистое; сегодня я пью свое вино, дар бедных итакийских виноградников, хотя в подвалах пылятся амфоры, достойные вождения записных пьяниц из Дионисовой свиты. Пусть их пылятся... Хмель бродит вокруг, не решаясь приблизиться, обнять, закружить голову. Я вообще плохо умею пьянеть. Я ничего не умею хорошо, кроме как возвращаться.

Наверное, страшно выяснить на девятнадцатом году жизни, что ты – в сущности, скучный человек. Что рад знакомым камням, козам, жене и сыну, пренебрегая вечным – славой, например. Оставьте меня в покое и забирайте себе всю славу, какую отыщете от снежной Гипербореи до Островов Заката! Смеетесь? Отказываетесь?! Хотите поделиться со мной солнечными блестками?..

Делитесь.

Только после не жалуйтесь, потому что я вернусь. Не знаю, вернетесь ли вы, не знаю, будете ли счастливы своим возвращением – я знаю другое.

Перила холодны под пальцами.

Я вернусь.

Берег со стороны бухты взрывается раскатами хохота. Множество луженых глоток изрыгают счастье быть живым, счастье предвкушать завтрашний день, который (о, несомненно!) будет удачней сегодняшнего и уж наверняка трижды удачней вчерашнего.

– Тысячу! Я убью тысячу врагов!.. я! убью!..

Это мой шури́н Эврилох. Шальной Эврилох, буян и забияка, с кем я дрался в детстве за право убить Лернейскую гидру. Гидра шипела в корзинке – пять желтоголовых ужей, пойманных в расщелине; гидра шипела, а мы катались с Эврилохом по траве, напрягая мальчишеские тела, пока мне не стало скучно.

– Я Геракл! – Он вдавил мои лопатки в жухлую зелень, вскочил и принялся плясать, размахивая самодельным дротиком. – Я Геракл! Истребитель Чудовищ!

Я лежал и смотрел в небо. Он был Геракл, а мне было скучно. Нет, иначе: мне *стало* скучно. Поперек детской потасовки; в середине игры. Со мной так случалось и раньше. Говорят, я родился слабоумным; говорят, я прогневал богов, но они вняли родительским мольбам и вернули мне рассудок. Рассудок, который временами превращался в холодное, безжалостное лезвие, отсекающее все лишнее.

Например, гидру – пять бессмысленных ужей.

– Я Геракл! – Эврилох наконец обратил на меня внимание, подумал и смиростивился. – А ты... ты... Хочешь, ты будешь Персеем? Сначала я убью гидру, а потом мы пойдем на берег, и ты убьешь Медузу?

– Не хочу. – Я действительно не хотел. – Персеем не хочу. Я буду гидрой. И ты меня убьешь. Ладно?

Эврилох долго молчал. А потом бросил дротик и с ревом убежал домой. И вот сейчас, спустя тринадцать лет, он горланит из ночной прохлады:

– Тысячу! Я убью тысячу врагов!.. я! убью!..

Наверное, ему просто нравится слово «тысяча». Оно окрашено в царский пурпур, это слово, оно сияет золотом. «Тысячу воинов в шлемах из бронзы поверг он, влекомый отвагой!» – аэды будут славить подвиги Эврилоха, исходя слюной вдохновения. Если убивать по врагу в день... Нет, три года – это слишком долго. Пускай убивает каждый день по три, пять, десять врагов!

Тогда я вернусь быстрее.

Двенадцать кораблей ждут рассвета. Рассвета, попутного ветра, туго натянутых парусов или, на худой конец, дружных взмахов веслами. Каждая скорлупка готова вместить полусотню вот таких неугомонных Эврилохов – всех вместе, на круг, едва ли не вдвое меньше, чем собирается убить мой друг детства. Наверное, надо мной будут смеяться, когда мы доберемся до Авлиды – места общего сбора. Наверняка будут. По слухам, только я да Аякс-Большой предводительствуем жалкой дюжиной судов. Только моя Итака и его Саламин являют миру свое ничтожество.

Пусть смеются.

А я засмеюсь вместе со всеми. Нет! – я засмеюсь громче всех, хлопая себя по ляжкам, сгибаясь в три погибели, и предложу сосчитать: если каждый мой Эврилох убьет по тысяче врагов, то хватит ли у троянцев жертв на всех остальных, смехолюбивых и медношеих героев?

Они будут считать, забыв о веселье; они будут шевелить губами и морщить лбы, загибать пальцы и многозначительно хмурить брови, а потом все забудется само собой.

Я всегда умел отвечать быстро и обидно.

Порок? достоинство? кто знает?!

Полагаю, в этот момент мелкой, дрянной победы мне станет скучно. Наверняка станет. Я дожусь, когда их глаза перестанет затягивать поволока недоумения, когда одни начнут командовать, другие – подчиняться, а третьи примутся добросовестно мешать и тем, и другим;

я отойду в сторонку, присяду на корточки и буду долго смотреть на людей, собравшихся многотысячной толпой для единственной цели – самоубийства.

– Я убью тысячу врагов!.. – оглушающим беззвучием повиснет над морем голов. – Я!.. тысячу!..

Срезанные колосья – вот вы кто. Клыки дракона уже упали в борозду, пустили корни, пробились ростками, и вот вы все поднялись из-под земли чудовищным урожаем: в броне, ошетилившись жалами копий, до краев налитые соками жизни. Но серп наточен, и жнецы выстроились на краю богатой нивы. Я с вами, братья мои, я один из вас, колос меж колосьев, только вы полагаете, будто уезжаете, а я знаю, что возвращаюсь.

Я вернусь.

Мне просто очень не хочется в одиночестве качаться на ветру, на черных просторах опустелой нивы; не хочется, но если даже и так, я согласен.

Последний глоток отдает тоской. Кислой, слегка терпкой тоской – и еще уверенностью, что я неправильно провожу последнюю ночь дома. Эта уверенность мерзко скрипит, песком на зубах, разошедшейся дверью, острием стилоса по вощенной табличке; мне кажется, где-то там, в черной ночи, хитрый аэд-невидимка записывает каждый мой вдох и каждый выдох, отдающий хмельной кислятиной. Что ты пишешь, аэд? о чем? зачем?! Ты же не знаешь обо мне ровным счетом ничего! ничегошеньки!.. в твоих росказнях у меня вырастет кудлатая борода, насквозь прошитая сединой, по лбу разбегутся борозды морщин, а левый глаз прищурится то ли лукаво, то ли просто из-за шрама на скуле! Аэд, ты будешь врать и скрипеть, скрипеть и врать, покрывая меня коростой лет и струпами мудрости, словно нищего у рыночных ворот – чтобы у слушателей раскрывались рты от изумления, чтобы тебе в миску падали не обглоданные кости, а жирные куски свинины, чтобы тебе дали хорошенько отхлебнуть из пиршественного кратера, а потом дали отхлебнуть еще разок...

Или ты скрипишь вовсе не ради этого?

Тогда – ради чего? И ради чего скриплю я – скучный человек девятнадцати лет от роду, герой поневоле, более всего желающий, дабы его оставили в покое, и знающий, что это желание неосуществимо? Беззвучный хохот царит над миром, надо мной, над всеми моими мечтами и всей моей реальностью; когда я узнаю имя весельчака – реальность неожиданно станет мечтой. Многоопытному мужу, преисполненному козней различных и мудрых советов, не так уж страшно встречаться со смертью, с Танатом-Железносердым, единственным из богов, кому противны жертвы; многоопытному мужу вполне пристало быть убийцей или убитым, обманщиком или обманутым, но если плащ твоей юности еще не истрепан ветрами...

Ветер ерошит мне волосы.

Я вернусь.

– Радуйся, милый!.. это я...

Это тишина за спиной. Перестал ворочаться мой сын, засопел с беззвучным блаженством; дремотный всхлип жены растворился во мраке, умолкли птицы на ветвях, затаилось море внизу, раскаты хохота стекли по гальке в соленую пену прибоя; и воцарившаяся тишина ласково шепнула мне:

– Радуйся, милый!.. это я...

Я не ответил.

А что, собственно, нужно было ответить?

Прошуршали легкие, невесомые шаги. Две ладони легли мне на плечи, помедлили, взъерошили волосы на затылке, как делал это мгновеньем раньше бродяга-ветер (или тогда тоже был не он?..); мягкая, полная грудь прижалась к моей спине, не торопясь отпрянуть.

Всегда любил полногрудых.

Как папа.

– Я не ожидал, что ты придешь.

А что я должен был сказать ей? «Я не ожидал, что ты *осмелишься* прийти»?! «*Посмеешь* явиться в мой дом накануне отплытия, накануне прощания, встать между мной и моей женой, между мной и колыбелью, между прошлым и будущим, на хрупкой и почти несуществующей границе настоящего»?!

Или вместо всего этого, даже в невысказанности своей, даже в мыслях опасного куда больше, чем острие кинжала у затылочной ямки, надо было просто сказать главное – то, чего она еще не знает и чему не поверит:

«Я вернусь»?!

Все-таки в любовницах, подобных ей, есть множество достоинств. Не проснется жена, не заплачет младенец, требуя своей доли внимания в самый ответственный момент; не войдет дура-служанка, и даже дождь начнется только тогда, когда вам обоим захочется послушать лепет капли у подоконника.

Один недостаток: она приходит, когда захочет, и уходит, когда захочет.

Но ведь это пустяки, не правда ли?

– Ты самый лучший, милый... самый лучший...

– Ничего подобного. – Сперва я раздумывал: потянуться за вином, рискуя обидеть, или откинуться назад, утонув затылком в мягком тепле? Ладно, вино обождет. – Диомед из Аргоса лучше меня на копьях; славный малыш Лигерон – на мечях... и вообще. Аякс-Большой выше на целый локоть; Аякс-Малый быстрее бегает. Калхант умеет прорицать, Махаон-триккиец умеет лечить, старик Нестор умеет прикидываться мудрецом; я не умею ни того, ни другого, ни третьего. Патрокл красавчик, а я не красавчик. У меня нос сломан. Мой папа умный, а я нет. Хочешь, я познакомлю тебя с папой?

Вообще-то отца сейчас на Итаке нет. Наверное, именно поэтому она – здесь. Смогла, отыскала...

– Ты дурачок...

Ну вот, теперь куда больше похоже на правду.

– Дурачок... я и сама не знаю, за что тебя люблю.

– Тоже мне загадка Сфинкса...

– А ты знаешь разгадку?

– Конечно. Я рыжий, коренастый, сумасшедший и слегка хромаю. А еще я очень хитрый.

Слово сказано. Загадка разгадана, теперь остается лишь ждать: растерзает Сфинкс безумца или нет? Ладони на моих плечах тяжелеют, наливаются – нет, не теплом, жаром! – и тишина за спиной беременна подземным гулом землетрясения.

Я действительно рыжий, коренастый и сумасшедший. Я слегка хромаю. Мы все были такие. Лемносский Кузнец, кровный родич, однажды взявший ее силой; фригийский сатир Марсий, пьяница и флейтист, собственной шкурой поплатившийся за самоуверенность; калидонец Тидей-Нечестивец, на ее глазах выпивший мозг своего врага, тем самым отказавшись от спасения; и вот теперь – я.

Ее любовники.

Сейчас она молчит. Ждет. Думает. Случайно ли я сказал то, что сказал – и что я хотел сказать на самом деле? Особенно последней фразой: «А еще я очень хитрый...»

– Я тебя люблю...

– Я тоже тебя люблю.

Вот и все. Мы оба сказали правду. Наилучшую из правд – не всю. Мы любим друг друга. Почему бы и нет? Мы оба едем на войну. Почему бы и нет?

Мы оба знаем, что вернемся обратно.

Почему бы и нет?!

Наша любовь была звездопадом. Лавиной в горах она была, буйством стихий, штормом в открытом море. Вечным восторгом; вакханалией для двоих. Все наши ночи я помню телом, душой, трепетом ресниц, дрожью пальцев; с женой у меня никогда не было так. С женой было иначе. Тихо, спокойно; обыденно. Плеском волн, нехитрым щебетом иволги, шорохом осени, когда листья опадают на усыпанную песком тропинку в саду. Сиюминутная вечность, не умеющая говорить о любви вслух. Первый выкидыш, рождение сына, пряжа, властная свекровь, варенье из кизила...

Я вернусь.

– Не сердись, милый... Я же говорила: тебя не оставят в покое. Если бы там, на Парнасе, ты послушался меня, вместо того чтобы с раненой ногой нестись сломя голову в Микены!.. потом это дурацкое посольство...

Она права.

Меня не оставили в покое.

Меня бы не оставили в покое, даже если на Парнасе, залечивая рану, я бы послушался ее и залег на дно.

Со дна подняли бы; вместе с илом и донной мутью.

* * *

...он выхватил моего сына из колыбели. Я сидел у окна талама¹, раскачиваясь и тупо мыча свадебный гимн, а Паламед-эвбеец шагнул с порога прямо к колыбели, и вот: на сгибе левой руки он держит пускающего пузыри Телемаха, а в правой у него – меч. Ребенок засмеялся, потянулся к блестящей игрушке. Паламед засмеялся тоже.

– Выбирай, друг мой. Хочешь остаться? – отлично. Останешься сыноубийцей. Как твой любимый Геракл. Я спущусь вниз один и скажу всем, стенам: «Одиссей-безумец не едет на войну. Он слишком занят похоронами сына, которого зарезал до моего прихода». Мне поверят; ты сам слишком постарался, чтобы мне поверили.

Я допел свадебный гимн до конца.

– Оставь ребенка в покое, – сказал я после, вставая со скамьи. – Пойдем. Я еду на войну.

Тогда я еще не знал, что умница-Паламед приехал не один. Оба Атрида² ждали во дворе, с ног до головы увешанные оружием и золотыми побрякушками; и еще Нестор – этот, как всегда на людях, кряхтел и кашлял, притворяясь согбенным старцем; и еще какие-то гости, которых я не знал.

Они беседовали с моей женой и не сразу заметили нас.

– Я спас тебе жизнь, – тихо шепнул Паламед, пропуская меня вперед. – Останься ты дома, хоть безумный, хоть нет, и жизнь твоя будет стоить дешевле оливковой косточки. День, два... может, неделя. И все. Удар молнии, неизлечимая болезнь... землетрясение, наконец. Надеюсь, Одиссей, ты понял меня.

– Я понял тебя, – без выражения ответил я.

– Теперь ты будешь меня ненавидеть?

– Нет. Я буду тебя любить. Как раньше. Я умею только любить.

¹ **Талам** (аналог. терем) – часть женских покоев (гинекея); как правило, располагался в верхних этажах задней части дома: меньше встреч с посторонними и в случае нападения легче оборонять.

² **Атриды** – имеются в виду сыновья Атрея: братья Агамемнон и Менелай, правители Микен и Спарты.

– *Наверное, ты действительно сумасшедший, – вздохнул Паламед.*
Я не стал ему ничего говорить. Он просто не знал, что такое – любовь. Настоящая любовь.

* * *

– Ты задумался, милый? О чем?
– О своей печени. В которую рано или поздно ткнет копьём проворный троянец. Я буду лежать на берегу Скамандра, и твоя рука невидимо для живых утрет мне смертный пот со лба. Как ты думаешь, может, мне стоило бы заранее составить песню об этом? Иначе с площадных горлохватов станется все перевернуть... Пылью власы его густо покрылись; скорбели герои над мужем, память о коем останется жить, пережив его бренное тело...

И тут она расплакалась.

Вскочив, я принялся неуклюже утешать ее; нет, какая все-таки я скотина! – ведь знаю, чем она рискует, явившись сюда, ко мне, в ночь перед отплытием!.. губами ловил капли, струившиеся из ослепительно-синих глаз, бормотал глупые слова оправданий, гладил русые волосы, стянутые на затылке тугим узлом; потом долго стоял молча, крепко прижав ее к себе...

Вспомнилось невпопад: с женой мы сегодня не любили друг друга. Все кругом рассказывают, как жены в последнюю ночь крепко любят своих мужей, уходящих на войну, – а у нас не сложилось. Сперва Пенелопа укладывала спать ребенка, не доверяя нянькам (или просто боясь разрыдаться по-настоящему), затем мы молчали, сидя рядом на ложе.

Все у меня не так, как у людей.

– Ну что ты, что ты, маленькая... брось, не надо...

Прав был Паламед: я действительно сумасшедший. Вот уж сказал, так сказал. Ма-аленькая... А что делать, если других слов не нашлось?

– Тысячу!.. я убью тысячу воинов!.. я...

Интересно, тот троянец, чье копьё жаждет вкусить моей печени, тоже кричит сейчас об этом? а, пусть его кричит.

Он же не знает, что я вернусь.

...когда она ушла – вот только стояла у перил, глядя на зеленую звезду, и уже ее нет, лишь ветер, ночь и ропот прибоя, – я налил себе еще вина.

Осталось мало времени.

До рассвета всего ничего; до рассвета я должен научиться возвращаться.

Я, Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Одиссей, внук Автолика Гермесиды, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, – и Аркесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Одиссей, владыка Итаки, груды соленого камня на самых задворках Ионического моря. Муж заплаканной женщины, что спит сейчас в тишине за спиной; отец младенца, ворочающегося в колыбели. Любовник той, чье имя лучше не помянуть всуе. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! я...

Крыса, загнанная в угол – вот кто я. Вы все – боги и герои, тучегонители громокипящие и цари пространно-властительные, надежды и чаяния; а я – крыса в углу. Обремененная норой и крысятами, страхом и бессмысленным оскалом.

Никогда не загоняйте крысу в угол.

Не надо.

Иначе Лернейская Гидра может показаться вам милой шуткой на день рождения.

Память, моя память! – сейчас ты единственное, что мне подвластно. Все остальное отняли, дав взамен свободы предназначение. Я плыву по твоему морю вспять, о моя память,

я торопливо вспениваю веслами былой простор, где есть место своим Сиренам и циклопам,
Сциллам и Харибдам, дарам и утратам, островам блаженства и безднам отчаяния.

Я возвращаюсь.

...Я вернусь.

Песнь первая

Взрослые детские игры

*Лица морицинистого черт
В уме не стерли вихри жизни.
Тебя приветствую, Лаэрт,
В твоей задумчивой отчизне.
И сладко мне, и больно мне
Сидеть с тобой на козьей шкуре.
Я верю – боги в тишине,
А не в смятенье и не в буре...*

Н. Гумилев

Строфа-І³

Подарок мертвеца

Полдень карабкался в зенит. Подступала та самая невыносимая пора, когда жизнь стремится забиться в тень, спасаясь от палящих лучей Гелиоса, а дядя Алким говорит, что про Икара, небось, все врут; если б он и вправду скреплял свои крылья воском, то никуда бы не полетел, а даже и полетел бы – так невысоко: воск бы сразу растаял, на такой-то жарнице!

Отделался бы Икар парой синяков.

Над островом струился пряно-горьковатый аромат чабреца и дикого овса. Наверное, это они, травы, так потеют. Запахами. Небо выгорало дотла, становясь белесым, и смотреть на него было больно – даже если сильно щуриться, приставляя ко лбу ладошку. Да и толку на него смотреть, на небо-то? Разве что в надежде разглядеть спасительное облачко, которое хоть ненадолго закроет лик пышущего жаром божества? Зря вы это, уважаемые, и не надейтесь – после явления над ночным небокраем Орионова Пса⁴, звезды вредоносной, не бывать днем спасительным облакам!

Лениво щипали жухлую траву привычные ко всему козы. Пастухи-козопасы забрались в шалаши, вполглаза приглядывая оттуда за своими подопечными; даже птицы смолкли – и только громкий стрекот цикад разносился кругом. Да еще ворчал в отдалении никогда не смолкающий шум прибоя, жалуясь на вечность.

Впрочем, нет – вот еще чьи-то голоса:

– ...Не по правилам! Стены не ломают! Надо идти в ворота...

– Сам иди в свои ворота! Там твои воины! Вон сколько! А я тебя обманул! Я сзади обошел; и стенку поломал... Сдавайся!

Огненно-рыжий малыш в подтверждение сказанного обрушивает еще две-три жердочки в аккуратной изгороди. Игрушечный «город», с таким старанием выстроенный его «противником», становится вовсе беззащитным.

³ Песнь делилась на СТРОФЫ и АНТИСТРОФЫ (отдельные повествования), чередующиеся между собой. Завершалась песнь заключением – ЭПОДОМ.

⁴ Имеется в виду Сириус, чье появление над горизонтом приходилось на середину лета – самый засушливый период.

Заходите, люди добрые, берите что хотите!

– Фигушки!.. – ворчит белобрысый «противник», сверстник рыжего. – Стенку нельзя сломать! Она каменная.

– А вот и не каменная!

– А вот и каменная! Ее ручной циклоп строил... Когда ломают, грохоту – трах-бабах! Мои бы услышали. И прибежали!

– А вот и не услышали! А вот и не прибежали! Твои все у ворот окаменели! – Рыжий (в придачу он еще и курчав, как аркадский барашек!) тычет пальцем в дюжину ярко раскрашенных фигурок из липы: стражу городских ворот.

– Фигушки! – не сдается белобрысый, украдкой вытирая слезу, недостойную героя-полководца. – Ты зачем мою стенку пальцем ломал? Не по правилам! Боги не воюют!

Упрек попал в самую точку. Рыжий на мгновение смущенно потупился. Сунул в нос палец, которым не по правилам ломал циклопические стены, словно надеясь выковырять нужный ответ, и тут же просиял:

– А это не боги! За меня – Геракл! Он, знаешь, какой? Он ого-го какой! Как гора! Ему твою стенку сломать...

Неожиданно рыжий умолкает, не окончив пламенной речи о величии Геракла. Оборачивается, исподлобья глядя снизу вверх – как если бы к нему подошел кто-то из взрослых, окликнув по имени. Глядеть снизу вверх больно: там небо. Небо и солнце. Но он все равно глядит, этот рыжий упрямец.

– Геракл за обманщиков не воюет! Он хороший, он только с чудовищами... – Белобрысый тоже умолкает. С недоумением смотрит на приятеля. – Эй, ты чего? чего ты?!

– ...ты же видишь, мы играем! – пропустив мимо ушей вопрос белобрысого, заявляет рыжий куда-то в пространство; заявляет совершенно другим тоном, чем тот, каким он минутой раньше спорил с приятелем.

Так говорят с приставучими и непонятливыми взрослыми, которым, к сожалению, нельзя сказать просто: «Отстань!»

– ...дядя, я не умею. Чего? Строить не умею... этот... кентафер твой! А ты сам попроси. Ментора папу попроси, дядю Алкима. Он все знает! Ладно? – Рыжему очень хочется поскорее вернуться к прерванной игре, но отделаться от загадочного собеседника, похоже, не так-то просто.

– Одиссей! Ментор! Одиссей! Где вы?!

– Мы здесь, тетя Эвриклея! – спешит подать голос приятель рыжего. Кажется, он доволен явлением знакомой «тети»: поведение друга страшит его, хотя малыш никогда и никому не признался бы в этом вслух.

– Басилей⁵ Лаëрт призывает своего сына! И ты, Ментор, тоже иди... Да где же вы прячетесь?

Голос быстро приближается.

Вскоре из-за деревьев сада – о, сад басилея Лаëрта прославлен далеко за пределами Итаки! – появляется его обладательница: статная женщина лет двадцати пяти. Строгий, без блестящей мишуры, гиматий песочного цвета; на ногах – сандалии из мягкой кожи, с крохотными бубенчиками около завязок. На шее мерцает теплым светом единственная нить сердоликовых бус (камни подобраны один к одному, со знанием дела). Иссиня-черные волосы уло-

⁵ **Басилей** – обычно переводится как «царь». Правильнее – вождь, иногда – наместник. Может быть сравним со средневековым графом или герцогом.

жены на затылке хитрой раковиной, по неведомой заморской моде (на острове таких причесок больше никто не носит), и скреплены серебряной заколкой. Стройная фигура, полная грудь, еще более подчеркнутая высоко повязанным поясом...

Впрочем, мальчишкам, конечно же, до фигуры женщины нет никакого дела. А до ее груди дело было лишь у одного, и то это славное дело закончилось давным-давно. Зато оба прекрасно знают другое: Гераклу не успеть окончательно доломать стенку. Потому что за полководцами, а может быть, даже за двумя бессмертными богами, явилась тетя Эвриклея – приставленная к рыжему обманщику Одиссею няня (она же в прошлом кормилица), рабыня басыля Лаërта. Правда, ни видом своим, ни поведением тетя Эвриклея на рабыню отнюдь не походит; но рабы и рабыни на Итаке, в особенности же – личные рабы басыля Лаërта, прозванного в глаза Садовником, а за глаза... Понимаете, это разговор особый. Можно сказать, совсем особый разговор. А сейчас из всего этого наипособенного разговора ясно главное: хочешь – не хочешь, а придется игру заканчивать и идти во дворец.

Жалко.

Дворец – это дворец, не в пример скучней.

Но игра уже все равно испорчена, так что приятели со вздохом поднимаются, уныло натягивают сброшенные ранее хитончики и следуют за Эвриклеей через сад по одной из знакомых дорожек. Мимо серебристых олив, мимо яблонь самых разнообразных сортов (есть здесь и две *тайные* яблоньки, но они растут в дальнем, специально отгороженном углу сада, где всегда начеку суровые стражи и куда мальчишек не пускают, будь ты хоть трижды сыном басыля!); мимо груш и гранатовых деревьев, смоковниц и... нет, не упомянуть, как все эти диковинки называются – слишком много тут растет всякого-разного!

– Няня? Няня, а что такое... кентафер?

Это рыжий Одиссей. Молчал, молчал, да и спросил.

– Кентавр? – У няни легкий, едва уловимый акцент: она картавит. – Ты разве не знаешь, маленький хозяин? Наполовину человек, наполовину конь...

– Не-е, не кентавр! Про кентавра я сам знаю! Этот... кен... кентафер!.. нет, кенотафер! Который строят!

Эвриклея едва не споткнулась, но сумела взять себя в руки.

– Кенотаф, маленький хозяин. Кенотаф – это такая гробница. Могила. Только... ну, как бы ненастоящая. Понимаешь, внутри нее никого нет. Если человек погиб на чужбине, или утонул в море, или пропал без вести... В общем, если его не смогли похоронить как полагается, то ему строят кенотаф. Посмертный дом.

– А зачем? Ему не все равно – мертвому?

В голосе мальчишки звучало самое обычное детское любопытство. Ничего более. Ведь действительно странно: зачем мертвому дом? «Странно другое: с чего бы это невинный ребенок задавался такими вопросами?» – подумала няня.

Но тем не менее ответила:

– Не все равно, маленький хозяин. Если человека не похоронить как полагается, без жертв и обрядов – душа его не сможет попасть в Аид. Так и будет скитаться, неприкаянная, по земле.

– Бедная... Няня, а что, в Аиде лучше?

Эвриклея все-таки споткнулась.

– Не знаю.

– А кто знает?

– Никто из смертных не знает. Это ведомо только богам. Но душа человека должна попадать в Аид, в царство мертвых. На земле ей не место. Для того и строят кенотаф.

– А-а-а, – понимающе протянул Одиссей. – Значит, дядька просто мертвенький был...

Эвриклея с тревогой взглянула на рыжего мальчишку. Но тот беззаботно шагал рядом по дорожке, уже утратив всякий интерес к скользкой теме.

Вот, на одной ножке запрыгал.

– Какой дядька, маленький хозяин? – осторожно поинтересовалась няня.

– Он опять с никем разговаривал, – не преминул наябедничать Ментор. Видно, до сих пор не простил рыжему сломанную пальцем-Гераклом стенку.

– Сам ты никто! – окрысился на ябеду Одиссей. – Дядька как дядька. Бородатый. В доспехе. Только без шлема; и меч потерял, разиня... Я ж не знал, что он мертвый! Приставучка: бросай играть, строй ему кенотафер! Няня, а могила эта – она невзаправдашняя? Раз там пусто?

– Да, маленький хозяин. – Голос няни дрогнул, и выпуклые, темные глаза ее подозрительно заблестели.

Но мальчик не обратил на это внимания:

– Ладно, построю ему... Маленький. Как мы с Ментором город строили. Невзаправдашний. Пусть только расскажет, как правильно. Построю, он тогда отстанет. Зануда он...

Эвриклея шла по дорожке, плотно сжав губы, и с трудом удерживала подступавшие к горлу рыдания.

* * *

...Память ты, моя память...

Так бывает: возвращаясь, мы ждем одного, а находим совсем другое. Не лучшее или худшее, а просто другое. Неожиданное. Родное, и в то же время незнакомое. И деревья оказались ниже, и голоса – глуше... другие места, другие люди. Наверняка в столь нежном возрасте я был другим: менее связно говорил, иначе выглядел, иначе вел себя. Ментор – он вообще ничего такого не помнит. Говорит, в тот день мы вовсе не виделись, потому что он подсадил ужа в горшок с молоком, молоко скисло, и его в наказание заперли дома.

Станный ты корабль – память. Особенно детская память. Иногда ты возвращаешь меня в ясность и отчетливость, так что даже по прошествии многих лет кажется, будто все происходило только вчера. Иногда же знакомый берег надолго скрывается в тумане, выступая наружу урывками, отрывками без начала и конца; сны предстают настоящими событиями, а случившееся на самом деле кажется сном.

Конечно, взрослые тоже путают сон с явью, что-то забывают и перевирают – но речь об ином. Детские воспоминания – родина. Место, где тебя любят; где ждут. Есть в них тайная непосредственность, искренность, та невыразимая словами подлинность высшей пробы, что заставляет нас раз за разом прибегать к помощи своего внутреннего Крона, Повелителя Времени. И возвращаться туда, – вернее, в *тогда*, когда краски были ярче, деревья выше, дождь – мокрее, а родной остров казался целым миром.

Номосом.

Теперь-то я хорошо понимаю испуг своей няни, вспоминая навернувшиеся на ее глаза слезы. Еще бы! Ведь, по рассказам, я родился недоношенным, и, как вскоре выяснилось... скажем так: не вполне обычным ребенком. И это она, моя нянюшка Эвриклея, привезенная по заказу отца из Черной Земли за цену двадцати быков (небывалая цена для рабыни!), – именно она выходила меня, выкормила, в прямом смысле поставила на ноги! Басилей Лаэрт знал, что делал, когда платил несусветную цену за заморскую рабыню из рода потомков Пеана, божества врачевания.

И тут – такой удар...

– *Боги, за что караете?!*

По крайней мере, так думала няня.

Я же думал иначе. И тогда, и сейчас.

Впрочем, тот день мне запомнился частично – хотя это был один из самых ярких лоскутов прошлого, доставшихся в наследство. Как играли в штурм города – помню; как мешал мне зануда-покойник, желая немедленно отправиться в Аид, – тоже помню. А вот как мы пришли во дворец отца... ах, какой там дворец! особенно после дворцов в Микенах, Аргосе и Трое! дом себе и дом, получше, конечно, чем у других – базилей все-таки! – но я не представлял себе дворца выше и краше...

Короче, не помню, и все тут.

Отрезало.

И какой хитон на меня надели, тоже не помню. Парадный, конечно, новый, из сундука, а вот какой? Сандалии запомнились: красненькие крепиды, с бортиками и задником, украшенным золотыми бляшками-щитами. А хитон – хоть убей, не помню!

Дался он мне, этот хитон, гарпии его заберут?! Все, проплыли. Дальше тоже обрывками встает: речь эта длиннющая, мама плачет, отец хмурится...

* * *

Во дворцовом мегароне⁶ ярко горели факелы – все сразу, сколько их ни было на стенах! Такого рыжий мальчишка ни разу не помнил за свою короткую жизнь. И вообще: почему бы не собраться снаружи, во двореке, если день? ну и что, что жара?!

Здесь-то еще жарче...

Маму он даже не сразу узнал: на ней был незнакомый темно-коричневый пеплос, и мама, не стеснясь, плакала, закрыв лицо руками.

Мальчика подвели к отцу, и отец положил на плечо сыну свою крепкую жилистую руку. Сжал, не рассчитав силы: мальчишку едва не перекосило. Но он не захныкал, сдержался. Пусть женщины нюни распускают, а он, Одиссей, – мужчина. Хотя дядя Алким говорит, что и мужчинам иногда плакать не стыдно, особенно если большое горе; и слова из разных песен приводит, где герои то и дело плачут – когда у них друга на войне убили, или жену хотели украсть, а не украли; или еще какая беда. А тут – подумаешь, плечо сжали! Ну, больно.

Потерпим.

Однако мальчику становилось не по себе при виде плачущей мамы. И он стал смотреть в зал, где толпилось множество народу. Вон у южной колонны притулился заклятый друг Мен-тор, рядом со своим папой, итакийским даматом⁷ Алкимом; вон сверкают потными лысынами геронты⁸ – многие со взрослыми сыновьями, а кое-кто и с внуками; и еще – люди, люди, люди... Пол-острова сбежалось, не меньше. Хотя вряд ли: мегарон у базилея Лаërта, конечно, самый большой в мире, но пол-острова сюда не поместится.

А жаль.

До Одиссея не сразу дошло, что какой-то чужой дядька в дорогой хламиде – лазурной, будто море, с золочеными бурунчиками по краю – уже некоторое время обращается к собравшимся с речью. Мальчишка стал его слушать, но все равно почти ничего не понял. Дядька (по виду дамат, а то и базилей из-за моря! или базилейский родич...) читал написанное на длин-

⁶ Мегарон – главный зал дома.

⁷ Дамат – придворный, чиновник.

⁸ Геронт – старейшина.

нущей полосе тонковыделанной кожи, и по мере прочтения сворачивал эту кожу в трубочку, а внизу разворачивал – читать дальше.

Оставалось еще порядочно.

– ...не печальтесь, но радуйтесь! Ибо я, Автолик Гермесид, ухожу с легким сердцем, оставляя жизнь вам, кому она в радость, а не в тягость, как была мне в последние годы. Помните меня на погребальном пиру, но не лейте напрасных слез – ибо этим вы только опечалили бы мою тень, когда б она по воле бессмертных богов явилась на вашу тризну.

Теперь о праве наследования.

Я, Автолик Гермесид, завещаю стада свои и пастбища, равно как рабов и другое имущество, своей жене Амфитее, а также сыновьям Кимону, Гиппию и Мильтиаду в равных долях. Кроме того, ларцы с микенскими и критскими украшениями я завещаю дочери своей Антиклее, супруге базилея Лаërта со славного острова Итаки; лук же, полученный некогда мною в дар от Ифита-Ойхаллийца, сына Эврита, я, Автолик Гермесид, завещаю внуку своему Одиссею Лаëртиду...

С этого момента речь заморского дамат (или кто он там?!) вновь полилась мимо ушей рыжего мальчишки. Да, разумеется, время от времени он слышал от родителей: где-то в Фокиде (что такое Фокида, мальчик представлял себе слабо, а вернее – никак не представлял) у него есть дедушка. Мамин папа. Дедушку зовут Автолик, он сын бога Гермеса и вообще очень уважаемый человек.

Все, как дедушку вспомнят, так и начинают крутить головами:

– Ах, Автолик! ух, Автолик! ох уж этот Автолик, чтоб ему...

Видимо, всяких благ желают.

Дедушку Одиссей никогда не видел, поэтому известие о его смерти воспринял спокойно. Тем более что дедушка сам просил в послании не плакать о нем, а, наоборот, радоваться! Вот Одиссей и не плачет. Он послушный мальчик. А едва услышал о луке, который ему завещал славный, хороший, добренький дедушка, тут же начал радоваться!

«Интересно, а дедушка написал письмо до того, как умер, или уже после?» – подумалось мельком, но мысль эта мигом вылетела из головы Одиссея. Дедушка Автолик завещал ему лук! Настоящий! Не игрушечный, стрела из которого летит шагов на двадцать, а настоящий боевой лук! Лук героя! Вот стрельну в Ментора, будет знать, как спорить...

Здорово!

Жалко, конечно, что дедушка умер, но – лук! Надо будет поблагодарить при встрече за подарок. А что? Ведь говорил же с ним, Одиссеем, зануда-дядька, просивший выстроить ему ненастоящую могилу?

Тем временем дамат-базилей закончил читать послание дедушки Автолика. Сделал кому-то знак, и двое слуг вынесли вперед длинный ларец из магнолии, украшенный затейливой резьбой. И еще два ларца, поменьше, зато серебряные и с драгоценными камнями на крышках. В камнях весело играло пламя укрепленных на стенах факелов.

Мальчик сразу догадался, что в длинном ларце – его лук, а в ларцах поменьше – украшения для мамы. Вот только мама отчего-то не радовалась, а все равно продолжала плакать. Интересно, она и когда маленькая была, не слушалась своего папу?

Дамат-базилей снова начал говорить, слуги поставили два меньших ларца перед мамой, но мама даже не стала их открывать. А мальчик во все глаза смотрел, как слуги теперь подходят к ним с отцом (к ним!..), как ставят перед ними длинный деревянный ларец (дедушка! милый дедушка!..), как отец не спеша наклоняется, поднимает (а-а-ах!..) крышку...

Лук был здоровенный. Куда выше самого Одиссея. А тетива и два роговых наконечника, к которым она должна была крепиться, лежали отдельно. Но это ничего, решил мальчишка. Он еще успеет натянуть тетиву и пострелять успеет всласть – потому что теперь это *его* лук!

Отец извлек из ларца подарок; осторожно вложил в руки сына.

Лук оказался не только длинным, но вдобавок тяжеленным – мальчик едва сумел удержать его в руках; но все же удержал и с усилием поднял над головой, показывая всем собравшимся.

И – удивительное дело: взметнувшись вверх, лук словно сам потянулся к факельному огню, к потолку, к небу, к невидимому из мегарона солнцу, выдергивая за собой своего нового обладателя, делая рыжего сорванца выше ростом. Ушла тяжесть, исчезло неудобство; казалось, пальцы намертво приросли к дедушкиному подарку – не отдерешь! Все тело было легким и пело, как струна.

Миг торжества?!

Да, наверное...

Собравшиеся в мегароне люди заулыбались, хотя улыбки мало приличествовали серьезности момента. Послышались клики одобрения – «Видно дедову породу! Герой! будущий герой!..»; базилей Лаэрт ласково потрепал сына по затылку, взъерошив пожар шевелюры. В глазах на мгновение помутилось от золотого сияния, брызнувшего ниоткуда (ну не от волос же?!), а когда зрение вернулось к Одиссею, он увидел незнакомого мальчишку, чуть постарше себя.

Мальчишка стоял в зале, среди всех – но при этом особняком, сам по себе. Никого из взрослых, кто бы мог оказаться его отцом, рядом не было – это маленький Одиссей почувствовал сразу. Не понял, а именно почувствовал. Одежда? внешность? повадка? – нет, ничего такого не запомнилось; но что-то в лице гостя показалось Одиссею странным, и поэтому он долго не отрываясь смотрел на незнакомца, силясь понять: что же в нем странного?

Мальчишка как мальчишка... завидует, наверное...

И правильно делает.

А потом отец аккуратно вынул лук из рук сына (пальцы разжимались с неохотой, а когда все-таки разжались, мир сразу стал обычным) и вернул дедушкин дар обратно в ларец. Рыжий Одиссей хотел спросить, можно ли ему будет натянуть лук и немножко пострелять, но тут отец начал говорить ответную речь, рассказывать всем, каким замечательным человеком был дедушка Автолик, и в конце концов пригласил дорогих гостей на поминальный пир.

Так что Одиссей понял: не время.

* * *

Тогда, на поминальном пире, я, конечно, не особо прислушивался к разговорам взрослых. Больше глазел на приезжих, хрустел любимым поджаренным миндалем и все пытался подобраться к какому-нибудь кубку или кратеру с вином. Впрочем, последнее мне так и не удалось; бдительность нянюшки Эвриклеи оказалась на высоте. Ну и думал, конечно, о своем замечательном луке. Немного о покойном дедушке. Совсем чуть-чуть о дурацких кенотафах и зануде-дядьке.

Но кое-что из разговоров взрослых все же попадало в мои уши. Сейчас, по прошествии многих лет, могу только пожалеть, что не слушал поминальные речи и здравицы более внимательно.

Было бы легче возвращаться.

- ...смута в Элиде.
- По всему видать – быть новой войне. Сам Геракл войско собирает!
- Герои – они такие. Никак не навоюются. Еще, говорят, Флегры от Гигантомахии не остыли, а уж вся земля в пожарах...
- Послание Автолика-покойника слышали? Эх ведь завернул! И себя зачем-то через слово поминал: «Я, Автолик Гермесид...» Будто мы не знаем!
- Еще и строго-настрога велел перед смертью: непременно чтоб слово в слово зачитали! И обязательно здесь, на Итаке, во дворце Лаэрта!
- Так ведь завешание! наследство...
- Ну да, ну да... Им, героям – что наследство, что война... Все едино: слава, добыча... а людям – разорение...
- Кому разорение, а кому и не очень. Небось, покойный Автолик хоть из войны, хоть из мира по медяшечке таскал!
- Он ли один...
- Автолик – это голова! А вот как его вдова с сыночками дела теперь поведет... Оно, знаете, еще у богов на коленях!
- Да уж поведут, тебя не спросят! Сами управятся! При таких-то родичах, как наш гостеприимный хозяин...
- Слава бацилею Лаэрту!
- Что слава, то слава... Издавна повелось: Автолик – на суше, Лаэрт – на море...
- Язычок-то!.. попридержи язычок!..
- Ну да, ну да...

...тогда я еще не понимал, на что намекают гости моего отца. Папа Лаэрт? Дедушка Автолик? Родственники, конечно, – ну и что? Дедушка к нам и не приезжал-то никогда, да и папа все время на Итаке сидит...

Очередной кубок, к которому я было потянулся, плавно вознесся на недостижимую высоту. Я обиженно повернулся – но на сей раз это была не няня, а моя мама. Впрочем, вместо того чтобы поставить кубок обратно на стол, подальше от меня, она неожиданно поднесла его к губам и осушила едва ли не одним глотком. Я глядел на чудо во все глаза: никогда еще не доводилось видеть, чтобы моя мать пила почти неразбавленное вино! да еще вот так, залпом – целый кубок...

* * *

- Ну да, ну да...
- А я еще вот что вам скажу, почтеннейшие...
- Женщина со стуком поставила пустой кубок обратно на стол, и мальчик заметил: глаза матери лихорадочно блестят – то ли от слез, то ли от выпитого. Она уселась в стоявшее рядом высокое кресло, застеленное овечьим руном, притянула сына к себе, обняла.
- Вот ты, малыш, наверное, и не помнишь-то дедушку, – тихо проговорила Антикля, обращаясь к сыну, но говоря это скорее для самой себя. – А ведь он приезжал к нам... к тебе приезжал...
- Когда? – искренне изумился Одиссей.
- Вот тебе и раз! Дедушка, оказывается, приезжал, а ему никто даже не сказал!
- Вечно все скрывают...
- Конечно, ты не помнишь, – казалось, мать его не слушает. – Тебе тогда и года еще не было. А дедушка совсем больной был... ходить почти не мог, его в дом на носилках втаски-

вали... а все-таки приехал! На руки тебя взял, на колени к себе посадил... И имя твое он тебе дал, дедушка Автолик...

– И лук! – не удержался мальчишка. – Дедушка, он добрый! он самый добрый!

Мать ничего не ответила. Только прижала сына покрепче к себе и долго не отпускала. Потом, словно вспомнив о чем-то, вновь потянулась к кубку.

Понятливый раб-виночерпий мигом оказался рядом; плеснул до краев.

– А может, дедушка еще приедет? – с надеждой спросил мальчик. Подумалось: и мама бы тогда вино пить перестала.

– Нет... не приедет. Он умер, – матери стоило немалого труда произнести эти слова, но она все же нашла в себе силы. Антиклея, дочь Автолика, вообще слыла меж людьми сильной женщиной, но сегодня был особый случай: не каждый день умирает твой отец!

И хвала богам, что не каждый...

– Ну и что?! – стоял на своем маленький Одиссей, не понимая, что делает маме больно. – Я с Ментором играл! а дядька-зануда со своим кенотафером... А Эвриклея сказала, что кенотафер – это для мертвых. Так, может, и дедушка...

– Замолчи! – Женщина едва сдержалась, чтобы не ударить ребенка за кощунственные слова. Но вовремя опомнилась. Поднимать руку на собственного сына, да еще скорбного умом? Неужели у него все началось опять?!

– Боги, за что караете?!

Женщина отвернулась и, уже не сдерживаясь, зарыдала.

«Ну конечно, – подумал мальчик. – Дедушку, наверное, похоронили как полагается. И он попал в Аид. Поэтому он больше не придет. Как же это я сразу не подумал?»

Он сидел, хлюпал носом, смотрел, как меж столами бродят два незнакомых дядьки и одна тетка, которых никто не замечает, не разговаривает с ними, не... И сами дядьки с теткой ничего не едят, не пьют, только время от времени по-собачьи заглядывают людям в глаза; да еще косятся на него, маленького рыжего Одиссея, однако близко не подходят.

Погребальный пир для таких – что мед для мух.

* * *

...На следующий вечер, слушая не слышимые ни для кого, кроме него, указания зануды-дядьки, Одиссей построил первый в своей жизни кенотаф. Из камешков. Маленький. Не больше локтя в длину и в две детские ладони высотой. Зануда-дядька требовал построить ему большой, но мальчик заупрямился: «Построю маленький. Или вообще с тобой играть не буду!» – и зануде-дядьке пришлось уступить.

А потом, опять же по беззвучной указке, рыжий сын бацилея Лаërта произнес все, что требовалось, запнувшись всего четыре раза; и трижды назвал покойного по имени.

Больше зануда-дядька не появлялся, бросив докучать мальчику.

А на другой день я впервые увидел Старика.

Или тот появился еще на пиру, но я тогда просто не обратил на него внимания?..

Антистрофа-I

Мой остров – моя крепость

...Не спалось.
...Ну ни капельки. Ни в одном глазу.
...вот беда.

Совсем как мне сейчас, но это не смешно, и зеленая звезда уныло болтается над западными утесами...

Маленький Одиссей ворочался на ложе, с завистью поглядывая на маму. Сегодня Антиклея вопреки обыкновению уложила сына с собой – перед сном мама еще немного поплакала, и мальчик на всякий случай сразу притворился спящим. Ему не нравилось, что от мамы пахнет вином и она бормочет: «Бедный ты мой, бедный...», имея в виду то ли его самого, то ли покойного дедушку.

Дедушка не бедный. Он подарил маме ларцы с украшениями.

И он, Одиссей, не бедный. У него есть папа, мама, няня Эвриклея и новый замечательный лук. Ну ладно, пусть будет еще и Ментор. Только Ментору надо будет завтра дать по шее...

Дальше началась какая-то неразбериха. Ручные циклопы строили город на песке, Геракл бил плечом в содрогающуюся стену, ныл зануда-дядька, прося отдать ему стада и пастбища в равных долях; на Кораксовом утесе, что близ моря, стоял юноша с золотым луком, расстреливая в упор восходящее солнце – огненно-рыжий юноша, широкоплечий и низкорослый, смутно знакомый, отчего дрожь пробегала по телу, щекоchась смешными мурашками; а дядя Алким говорит, что есть сны вещие, а есть лживые, только иногда даже сами сны не знают – какие они?.. и это, наверное, хорошо, говорит дядя Алким...

Сел на ложе.

Рывком, откинув покрывало.

Рядом храпела мама. Чуть-чуть, смешно посвистывая носом. Перебравшись через нее, маленький Одиссей на цыпочках подошел к двери талама, – скоро, скоро его переведут спать к мужчинам, и тогда он всем покажет козью морду! – переступил порог.

На цыпочках ринулся вниз по лестнице.

Мегарон был полон спящими. У покрытых копотью стен вповалку валялись сраженные вином люди; кое-кто из мужчин грузно наваливался боком на полуодетых, а то и вовсе нагих рабынь. Вот дураки дурацкие, подумалось на бегу. Лавируя между телами («К-куда?! Убью!...» – вдруг приподнялся заморский дама-басилей, дико повел налитыми кровью глазами и повалился обратно), малыш пробрался к выходу, вскоре оказавшись во внутреннем дворе.

Ему строго-настрого запрещали справлять здесь малую нужду.

Но отбежать подальше он попросту не успел.

Луна панцирной бляхой выпятилась в просвет между облаками. Ясное дело, днем этих облаков зови, не дозовешься, а ночью, когда и без них прохладно – ишь, набежали! Ночная птица взмахнув кричала над лесистым Нейоном, жалуясь на одиночество, и вопли кликуши неслись вдоль изрезанного бухтами побережья Итаки, дальше, дальше... а что там, дальше?

Ничего.

Иногда рыжему сорванцу казалось: дальше действительно нет ничего и никого. Взрослые только обманывают, будто есть. Седой Океан струится вокруг Итаки, ограничивая мир; по вечерам можно видеть, как на горизонте клубятся пряди древней бороды.

...Не завидуйте себе-маленьким. Не надо.

Даже если и есть – чему.

Иначе однажды выясните, что вам некуда возвращаться; и дальше идти – тоже некуда.

Вернуться в духоту талама? Фигушки, как любит говорить Ментор, которому непременно надо будет дать по шее – но это уже завтра утром. Или сегодня? Размышляя, в какой миг заканчивается завтра и начинается сегодня (кто вообще придумал все эти глупости?!), маленький Одиссей сам не заметил, что ноги понесли его вокруг дома.

Туда, где располагались кладовые помещения.

Вот здесь, за стеной из пористого камня, спит его лук. Подарок доброго дедушки. Или лук тоже не спит? – ворочается с боку на бок в своем тесном ларце, вздыхает потихонечку, скушает за рыжим мальчишкой... Сев прямо на землю, малыш привалился боком к стене (совсем как гости к рабыням! вот еще!). Тихонько улыбнулся.

Теперь осталось раздобыть меч и щит. Жалко, что другой дедушка – Аркесий, папин папа – умер давно, ничего не оставив внуку в наследство. Ну да ладно, внук тогда был совсем крохотуля, зачем ему щит и меч? Он, Одиссей, не в обиде. Сказать, что ли, папе...

– Мальчик?

Ну, мальчик, мальчик, а что тут особенного? Был бы девчонкой, ни меч не понадобился бы, ни щит.

И дедушка Автолик вместо лука надарил бы побрякушек.

– Ма-а-альчик... – теперь уже разочарованно, с неприятным пришепетыванием.

Лунный свет сгустился, набряк изнутри темно-багровым; маленькая женщина выступила наружу, смешно присвистнув носом. Точь-в-точь, как пьяная мама. Она даже стала слегка похожа на маму – едва сравнение пришло Одиссею в голову, как лунная женщина сделалась выше ростом, знакомо склонила голову к плечу и подмигнула рыжему мальчишке.

– Не спишь? – Спрашивая, лунная женщина ни мгновенья не могла устоять на месте: все приплясывала, плыла, переступала с ноги на ногу, кружась вокруг ребенка в чудном, завораживающем танце.

«Не сплю», – хотел ответить Одиссей, но передумал. Еще заругается, няне нажалуется. Дети ночью должны спать – иди потом, объясняй, что ты давно не маленький...

Ну ее, липучую.

– А как тебя зовут? – Лунная женщина текла по границе невидимого круга, словно не в силах приблизиться к ребенку, прежде чем тот ответит на любой из ее вопросов; и шептала, шептала, наговаривала: – Медовую лепешку хочешь? Тебе жарко? У тебя есть сестрички?.. а где они спят?.. ты мне покажешь?! мальчик, ты не молчи, ты отвечай, ма-а-альчик...

Медовой лепешки Одиссей не хотел. И жарко ему не было. Сестрички же спали в гинекее, в дальних покоях: две старшие, сочинительницы вредной дразилки «Рыжий, рыжий, конопатый, на плече несет лопату!..» – и малышка-Климена, от которой вкусно пахло овечьим молоком, а дразниться она совсем не умела.

Только обнималась, да еще плакала, когда у нее болел животик.

Он хотел уже было сказать лунной женщине, где спят сестрички – пускай отстанет! – но ветер наотмашь хлестнул небо пастушьим кнутом, богиня облаков Нефела погнала прочь свое белорунное стадо, а дядя Алким говорит, что злая Ламия раньше была доброй, но ревнивая Гера убила всех ее деток, обрекая на одиночество, и теперь Ламия в отместку сама убивает чужих деток, надеясь не быть одинокой хотя бы в горе, а еще дядя Алким говорит, что Ламия никогда не посмеет тронуть наследника хозяина дома, защищенного родовыми даймонами и ее врагиней Герой, покровительницей семьи, если только наследник не станет ей отвечать, а если станет, то злая Ламия затопчет его ослиной ногой с медным копытом, и выпьет всю кровь, как мама вчера на поминальном пиру выпила целый кубок – залпом, не переводя дыхания...

– Не надо!

Плохо понимая, что он делает, больше всего на свете желая убежать и не в силах подняться – маленький Одиссей защитным жестом выставил перед собой руки, ладошками вперед, словно отталкивая лунную женщину; и эхом, ответным криком ударило в уши:

– Не надо!

Кричала Ламия. Потеряв всякое сходство с мамой, она отпрыгнула назад, до половины втиснувшись в двери из желтого сияния; темно-багровое стало смоляным, пятнами разбежавшись по телу ночного кошмара – а Ламия, не отрываясь, смотрела на перемазанные землей ладошки Одиссея.

– Светятся!.. – гнусаво шептала она, задыхаясь от липкого ужаса; и рыжему сыну базилия Лаërта почудилось, будто он сейчас держит в руках свой замечательный лук, подарок доброго дедушки, а тетива натянута, и стрела готова сорваться в полет, рассекая мрак.

Мало ли что покажется ребенку, от рождения скорбному умом?

– Светятся!.. не надо! я же не знала!.. не на...

...Почему?!

Почему сейчас, по возвращении, мне-будущему чудится: в стороне, у перил террасы, беззвучно смеется давешний мальчишка – странный и одинокий? Тот, кого я приметил в мегароне, среди гостей?!

Почему он с криком не бежит прочь при виде Ламии?

Спустя некоторое время – два судорожных вдоха? три? – маленький Одиссей опустил руки.

– Ты спи! ты не бойся! – шепнул он прямо в стену, где запертый на замок и два засова, в тиши кладовки, на дне ларца из магнолии, лежал самый лучший на свете лук.

«И ты спи... и ты не бойся...» – был ответ, или только померещилось? И все случившееся: было? не было?! Во всяком случае, проснулся рыжий у себя на ложе, рядом с мамой, а снаружи заморский дама-басилей громко требовал пить.

* * *

Старик не был нудным, как мертвый воин, который просил мальчика построить ему кенотаф. Не был он также боязливым и запуганным, подобно незванным гостям на поминках. Разговорчивым Старик тоже не был.

Он просто – был.

Возник и остался.

Иногда он ненадолго исчезал, но даже тогда Одиссей чувствовал: Старик где-то рядом. За тонким занавесом, отделяющим вчера от сегодня и сегодня от завтра. Если понадобится, он окажется здесь в любое мгновение.

Вот только острой надобности в этом пока не возникало.

Однако особых неудобств от присутствия Старика мальчик не испытывал. Напротив: за последние дни он настолько привык к новому спутнику, бессловесному и никогда не пристающему с нудными плохопонятными просьбами, что, с одной стороны, вовсе перестал обращать на него внимание – Старик сделался частью окружающей обстановки, частью привычной, малозаметной и молчаливой; а с другой стороны, когда Старик исчезал, маленький Одиссей начинал испытывать смутное беспокойство. Озирался по сторонам в поисках своей верной тени, поначалу даже приставал с вопросами к приятелю-Ментору и к няне Эвриклею:

– Где Старик? Куда он ушел?

– Какой старик? – удивлялись друг с няней.

– Ну, Старик! Ходит со мной все время... Пузатый такой. Лысый. С бородой седой. Хитон белый, сандалии...

– С тобой я хожу! – обижался Ментор, которому обидеться лишний раз было, что Зевсу молнией шарахнуть. – Сам ты старик! и сам ты пузатый. И бороды у меня нет. И хитон зеленый! И босиком – потому что жарко.

Выкрикивая это, белобрысый Ментор на всякий случай косился в сторону няни Эвриклеи. Мало ли?! Но рабыня-кормилица еще меньше самого Ментора походила на пузатого лысого старика с седой бородой.

Вдобавок Эвриклея-то была рядом, никуда не уходила.

– Ты ошибаешься, маленький хозяин, – мягко вторила Ментору няня, неестественно улыбаясь. – Или ты придумал новую игру? Игру в старика, которого не было?

– Был! был! был! – топал ногой рыжий мальчишка. – Дураки вы! дураки!! все!!!

Он обижался, глотал слезы и стремглав убегал прочь, в глубь отцовского сада. Ментор с Эвриклеей благоразумно не преследовали его, давая побыть наедине с собой и своей обидой – тем более что вскоре Одиссей возвращался сам, устав от одиночества.

А позже возвращался и Старик.

«Ты где был?!» – как-то напустился на него мальчик после особенно долгого отсутствия.

«Дома», – неожиданно ответил молчавший до сих пор Старик.

И Одиссей не нашелся, что сказать. Во-первых, он был ошеломлен тем, что Старик вдруг заговорил – как если бы с рыжим наследником бацилея Лаërта заговорила смоковница или пряжка на его собственной сандали; а во-вторых... Во-вторых, он раньше совершенно не задумывался, что у Старика тоже может быть дом, свой собственный дом, где ему надо время от времени бывать.

На этом их первый разговор и закончился.

– Ты где был?

– Дома.

– Где ты будешь?

Боги! как просто! и как недостижимо...

...я вернусь.

Память ты, моя память... Нет ветра, иду на веслах.

Умом-то я понимаю: запутавшиеся между жизнью и смертью тени являлись мне и в куда более раннем возрасте. С колыбели. Но ты, детская память, умнее сотни мудрецов. Ты попросту не сохранила ясных воспоминаний о днях младенчества. Зато после того, как рядом со мной прочно обосновался Старик, блуждающие души перестали докучать рыжему мальчишке. Рассудок, верное весло, незаменимое в походах, подсказывает: их отгонял Старик.

Одним своим присутствием.

Да, мой верный Старик, я прав. Только ты вряд ли кивнешь мне в ответ, сидя рядом: ты и сейчас здесь, со мной, на пустынной террасе, но однозначные ответы – не твоя стихия. Мой Старик! моя собственная тень! ты ведь тоже из *них*? Молчи... молчи!.. впрочем, ты и так почти всегда молчишь. Мы не говорили с тобой об этом, но я давно догадался – и не только об этом. Я умный. Я безумный. Во всяком случае, так утверждает стоустая Осса-Молва, от зеленого Дулихия до горного Эпира. Да и сам я (с момента пострижения? раньше? позже?! нет, не вспомнить...) – с некоторого времени я безошибочно отличаю живых от неживых.

Вот с богами – с теми иногда выходит промашка...

Довольно скоро я понял, что Старика никто, кроме меня, не видит, и перестал говорить о нем с окружающими. Даже крохотное дитя в состоянии уразуметь: есть разговоры, вызыва-

ющие у мамы слезы, а у друзей – раздражение и обиду. Проще лишний раз прикусить язычок. Зато я начал разговаривать со Стариком, нередко – поперек обычной беседы с кем-нибудь из близких; и папа хмурился, челядь перешептывалась, а мама с няней вздыхали, отворачиваясь.

– Боги, за что караете?!

* * *

На этот раз мальчик обиделся всерьез. И, как ему казалось, надолго. Насупившись, он брел по дорожке замечательного папиного сада, даже не предполагая своим умишком, что сад на территории дворца – поразительная роскошь не для правителя козьего островка, а для ванакто⁹ богатых Микен и Аргоса, чьи дворцы, окруженные высокими стенами, громоздились на тесном пространстве, подчиняясь стратегическим соображениям обороны.

Стратегические соображения мало волновали рыжего.

Даже диковинные деревья, отягощенные наливающимися соком плодами, оставляли его равнодушным.

Он хотел быть один.

Зайти куда-нибудь подальше? в самый укромный уголок? – и пусть все его ищут. Пусть зовут, кричат, плачут, призывают на помощь рабов, стражу и бессмертных богов, пусть сойдутся с ног в поисках – а он будет сидеть в гордом одиночестве и не выйдет к ним! Никогда-никогда! Пусть им всем будет хуже!

Сами виноваты.

Слепые они, что ли?! Старик вон уж сколько дней рядом околачивается, а они его не видят! Да и сам Старик хорош – хоть бы явился им, что ли? Или с ним, Одиссеем, поговорил бы, сказку рассказал, про трехголовую Химеру. Сейчас вон опять пропал неведомо куда...

За деревьями слышались голоса. Одиссей встрепнулся, разом позабыв о непонятливой няне, матери и друге Менторе. А заодно – и о вредном Старике.

Кто по саду бродит?

Кто шепчется в кустах?

Может, это враги пробрались в папин сад и строят свой подлый заговор? Последние дни во дворце немало говорилось о войне на Большой Земле, о битвах и заговорах – что-то творилось в далеком мире, о котором мальчик знал только понаслышке; но что именно – он еще не понимал.

Одиссей мигом ощутил себя воином-разведчиком, подкрадывающимся к вражескому лагерю. Ну конечно! Сейчас он подберется поближе, все услышит, выведает коварные планы врагов, а потом побежит к отцу и все ему расскажет! О, миг торжества! – тогда отец кликнет своих могучих воинов, и его, Одиссея, тоже возьмет, даст ему меч, щит и лук (да-да, непременно – лук! его собственный лук, подарок доброго дедушки Автолика!); и они с папой прославятся в веках!

Дядя Алким говорит: иногда один хороший разведчик может сделать втрое больше целого отряда воинов! Дядя Алким очень умный, он все знает! Чтобы стать хорошим разведчиком, не обязательно быть взрослым. Главное – незаметно подобраться...

Припав к земле, рыжий герой пополз на звук голосов, стараясь производить как можно меньше шума. Хитон, конечно, запачкается (уже запачкался и даже лопнул на боку... никудышные пошли хитоны в наше опасное время...); няня Эвриклея будет ругаться, но это ничего! Герои не боятся няней! Герои не плачут, когда им выговаривают за порванную одежду!

Главное – узнать коварный замысел врагов!

⁹ **Ванакт** (досл. господин, владыка) – титул, условно аналогичный императорскому.

– ...сейчас не время плыть на Большую Землю.

Голос показался знакомым, но мальчик не поддался на уловку. Враг хитер, враг умеет притворяться! Так, подползти еще чуть ближе, осторожно выглянуть из-за куста олеандра...

– ...но нельзя же просто взять и отклонить приглашение богоравного Нелея из Пилоса! Или вообще не ответить. Нелей – это хлеб, это доля в поставках шерсти из Аркадии...

Второй голос – тоже знакомый.

– Ну так придумай какую-нибудь вескую причину. Ты же, в конце концов, мой советник. Вот и советуй.

Одиссей разочарованно вздохнул.

Никаких врагов, никакого заговора.

Его папа, базилей Лаэрт, разговаривал с Менторским папой, дамадом Алкимом. Вот тебе и вся разведка! А хитон выпачкался изрядно. Теперь точно нагорит...

Однако вместо того чтобы с повинной выйти из-за кустов, рыжий мальчишка остался на месте. Конечно, он знал, что подслушивать папины разговоры дурно (враги – другое дело!), но любопытство оказалось сильнее. Папа собирается плыть на Большую Землю? Или, наоборот, не собирается? Его кто-то пригласил? Может быть, удастся разузнать еще что-нибудь интересное?

Герои, вострите уши!

Самое смешное, что этот призыв помогал мне в жизни не раз и не два...

– Причину-то придумать – сущие пустяки. Болезнь, торговые дела – да мало ли что может потребовать присутствия базилея Итаки на его острове? Дело в ином: за этим приглашением обязательно последует другое, третье... На них базилей Итаки также ответит отказом?

– Думаю, что да, мой предусмотрительный Алким. Отказом. Я не намерен более покидать остров. Я так решил. Ты, наверное, хочешь знать причины?

– О некоторых из них я догадываюсь. Возможно, есть и другие. Если мне позволено будет...

Конечно, папа – базилей, он самый главный на Итаке. Но разве у него есть тайны от дамата Алкима? Ведь папа Ментора не только его советник, но и друг! А от друзей тайн не бывает!

Жаль только, что дядя Алким в детстве свою маму не слушал. В него за это Артемида-Тавропола, в честь которой жены у мужей надрезают кожу на горле, серебряной стрелой выстрелила. Не убила – наказала. Заболел дядя Алким, и левая нога у него теперь – сухая и тоненькая, как палка. Ходить-то ходит, смешно заваливаясь набок и подпрыгивая, но воин из него... Наверное, поэтому папа тоже все время дома сидит, на войну не едет.

Не хочет дядю Алкима обижать.

– Догадываешься? ну-ка, ну-ка, изволь объясниться!..

Вроде бы базилей с дамадом слегка подтрунивают друг над другом. Только почему рыжему сорванцу вдруг расхотелось быть героем? почему прочь едва не бросило?

– Большая Земля в раздразе, мой базилей. Все грызутся со всеми. Сгорел Иолк; Элида бурлит, как забытый на огне котел; Спарта бряцает оружием. Поход Семерых на Фивы умылся кровью. Геракл – сам великий Геракл! – двинул войска на скрягу Авгия. Эрис-Распря, мать Бедствий, парит над Большой Землей на медных крыльях; цены на рабов упали ниже Тартара, а цены на золото пляшут, словно обезумевшие менады. В этой Ареевой каше недолго и самому угодить в Аид раньше срока. Нарваться на стрелу или со скалы ненароком упасть...

– Ты тоже слышал? про Тезея-афинянина?

– Не слышал, мой базилей. Донесли. Верные люди донесли. Я же, в конце концов, твой советник.

Лаëрт вытер ладонью раннюю лысину и ничего не ответил.

Лишь рукой махнул: садись, мол, в ногах правды нет!

– Думаю, – продолжил Алким, неуклюже опускаясь на скамеечку и вытягивая вперед больную ногу, – у итакийского базилея Лаëрта-Садовника найдется достаточно недоброжелателей. Пускай, не в обиду будь сказано, и поменьше, чем у богоравного героя Тезея...

Рыжий соглядатай заметил, что оба при этих словах усмехнулись: и папа, и дядя Алким. Словно дамаг остроумно пошутил. А что тут смешного? Тезей Афинский подвигов насOVERшал – лопатой не разгрести! Ясное дело, кучу врагов нажил. А папа... нет, он, конечно, папа... самый лучший...

– После смерти Автолика кое-кто подумывает, что неплохо было бы прибрать к своим рукам чужое дело. И на суше, и на море.

– Дело покойного Автолика?

– И дело ныне здравствующего базилея Лаëрта, – твердо ответил Алким. – Вот только пока мой базилей изволит здравствовать...

– Ты, как обычно, предусмотрителен, мой Алким. Мой остров – моя крепость. Любой подосланный убийца – чужак! – здесь будет у всех на виду, а из местных никто не рискнет головой ради грязного дела. Не брать же Итаку с моря, приступом?

Оба сдержанно рассмеялись.

Маленький Одиссей и раньше замечал: странные люди – взрослые. Ничего смешного нет, а они смеются. Зато ткнешь поросенка шилом в задницу, пустишь в мегарон, когда там почетный гость с папой...

Нет, не понимают истинно смешного.

– Тебе не кажется, мой Алким, что мы с тобой, будто шмели – жужжим, жужжим, да на цветок все не сядем?

Одиссей затаил дыхание. Сейчас папа скажет что-то очень важное. Мальчишка ждал, притаившись за олеандровым кустом; и дамаг Алким тоже ждал, пытаясь удобнее устроить больную ногу.

Дождались.

– Пусть сказанное останется между нами, мой Алким. Нет, клясться не надо, особенно святыми именами. Я тебе верю. Должен же я хоть на кого-то полагаться до конца под этим небом?

На миг Одиссею сделалось не по себе. Он очень пожалел, что не ушел (вернее, не уполз) отсюда раньше. А теперь было поздно. Сейчас отец откроет дяде Алкиму Страшную Тайну – и он, Одиссей, ее тоже услышит!

Под этим небом... неужели у папы есть в запасе иное небо?

– Скажи, мой Алким: куда смотрят Глубокоуважаемые?!

– Мой базилей... мой бедный мудрый базилей...

И совсем другим, теплым и участливым голосом:

– Иногда, Лаëрт, я счастлив своей искалеченной ногой, приковавшей меня к одному месту. Ногой – и еще тем, что в моих жилах течет кровь... только кровь. Я всегда подозревал...

– Вот и подозревай дальше, догадливый Алким. А вслух не говори.

Алким молча, понимающе кивнул.

Некоторое время царило молчание, и мальчик старался дышать как можно тише, чтобы не обнаружить своего присутствия. А еще он боялся, что его выдаст бешено колотящееся сердце. Он ничего не понял в папиной Страшной Тайне, но сердцем – тем самым, которое билось пойманным в ладонь птенцом! – чувствовал: сегодня он невольно прикоснулся к запретному.

Насколько запретному – этого рыжий согладался даже не подозревал.

– Итака – маленький островок, – вновь заговорил базилей Лаэрт. – Сюда не докатится война. Сюда не доберутся наемники с Большой Земли. Разве что Глубокоуважаемые обратят свой взор на Итаку – но это будет слишком уж много чести для козьего островка. Поверь, Алким: у меня есть некоторые основания так думать. Но если я объявлюсь на Большой Земле, затесавшись в общую бучу...

– Я понял, мой базилей. Я найду способ отклонить приглашение Нелея так, чтобы никого не обидеть. И все последующие приглашения. Ведь они могут исходить не только от врагов?

– Хорошо. Составь мне ответ к вечеру.

– Да, мой базилей.

По тропинке прошелестели шаги. Две пары шагов. Затихли в отдалении. Лишь тогда рыжий мальчишка наконец поднялся на ноги и начал сосредоточенно отряхивать хитон.

Саднил ободранный бок; и стоял поодаль вернувшийся Старик.

* * *

Итака наполнилась слухами.

О кораблях, запертых в безопасных гаванях, – купцы, даже бесстрашные сидонцы, просоленные куда круче вяленой скумбрии, не решались вывести груженные суда в море. Говорили: проще отплыть на десяток стадий¹⁰ от берега, вывалить все добро в воду и вернуться обратно. Проще и безопасней. Ибо теперь, при явном попустительстве Владыки Пучин, кроме старых добрых пиратов, умеющих различать своих и чужих, воды кишели военными кораблями, сшибающимися друг с другом, подобно бродячим псам. А в промежутках доблестные мореходы, отупев от безделья, грабили всех, кто попадался под руку, – сдавая добычу за бесценок в тех же безопасных гаванях.

Об оракулах, знамениях и прорицаниях – взаимоисключающих, спорных, опровергающих друг друга. О передравшихся пифиях, скандалах между птицегадателями, без того прославленными дурным нравом; и удивительных, похожих на Зевесову эгиду, пятен на кишках жертвенного быка в Додоне.

Пятна аукнулись срывом III Истмийских игр.

О походах и битвах, о гибели героев и падении городов. О резне под Писами – местечком, которому пропасть бы без вести во тьме веков, когда б не эта резня! – где силами союзников была наголову разбита армия Геракла (конец света! великий Геракл отступает?!); о нелепой гибели Ификла Амфитриада, Гераклова брата, от рук чудовищных близнецов-Молионидов.

О... кстати, большинство разговоров начинались именно с этой, самой многозначительной буквы. Кто-нибудь воздевал палец к небу и провозглашал: «О! вы слышали?..» Выяснялось, что не слышали, а если слышали, то не прочь послушать еще раз.

Намекали даже на возможный потоп и указывали точную дату: середина мемактериона¹¹. Ну, в крайнем случае, начало посеидония¹².

Тогда я еще далеко не все понимал (да что там «не все»! – ничего не понимал, ничошеньки!), и далеко не все разговоры доходили до ушей рыжего сорванца – но, если верить маме, ночами я беспричинно плакал и рвался из рук няни.

¹⁰ Стадия (стадий) – мера длины; общего стандарта не существовало, чаще всего равнялась 177,6 м. Олимпийская стадия составляла 192 м.

¹¹ Мемактерион – согласно аттическому календарю, ноябрь – декабрь.

¹² Посеидоний – согласно аттическому календарю, декабрь – январь.

Мне снились черные крылья. Просто крылья; без их обладателя. С обладателем было бы проще: страх, определившийся формой, названный по имени, перестает быть страхом. Мы гораздо больше боимся ожидания казни, чем собственно казни. Безотчетная тревога и тягостное предчувствие грядущей бури витали во дворце, сгушались, копились по углам облачками мрака; от них спирало дыхание почти реальной духотой.

Но была еще одна сторона происходящего – и того, что могло произойти, – о которой я-маленький не задумывался. Лишь теперь я начинаю понимать, *что* время от времени мелькало в глазах отца с матерью, когда они украдкой глядели на меня, думая, будто я не замечаю их взглядов.

Многих семейных сцен я вовсе не слышал, но простор воспоминаний хорош главным: он позволяет возвращаться по своему усмотрению даже в удивительные места, где раньше не довелось побывать – домысливая и представляя недостающее. Как оно было. Как не было. Как могло бы быть. А потом, когда нам окончательно повезет вернуться, мы стоим на малознакомом берегу, озираясь и исподволь начиная верить в собственные домыслы...

Теперь и навсегда это – прошлое.

Самое настоящее прошлое.

Сотворенное нами самими внутри нашего личного *Номоса*.

Но о *Номосах* – позже.

...Может быть, этого разговора никогда не было. Возможно, он состоялся, но был не совсем таким, или совсем не таким. Возможно...

Все возможно.

Если ты возвращаешься – возможно все, даже невозможное.

* * *

– ...Что скажешь, Антиклея? Я плохо знаю твоих братьев – думаешь, они удержат наследство Волка-Одиночки?

Тихий вопрос итакийского бацилея Лаërта, известного меж людьми под прозвищем Садовник – так его покойный тесть Автолик прозывался Волком-Одиночкой, – вплетается в отдаленный шепот ночного прибоя. Кажется, с женщиной говорит само море, над которым нависли бесчисленные глаза-звезды великана Аргуса.

Вот-вот покатятся под безжалостным серпом.

– Удержат, Лаëрт. Конечно, волчата не чета покойному отцу, они плохо умеют расширять и приобретать... Но доставшуюся им добычу из рук не выпустят. Иногда, хвала Гермию, Сильному Телом, хватка способна заменить предусмотрительность!

Низкий грудной голос Антиклеи сливается с шорохом ветра в листве, и теперь кажется: море спросило, а ветер ответил.

Ночь.

Море разговаривает с ветром.

Наверное, это очень красиво со стороны. Надо только уметь видеть и уметь слышать.

Надо уметь возвращаться.

– ...Это хорошо. Я бы предпочел иметь дело с ними, а не с посторонними людьми. Как-никак родичи... Многим сейчас снится новый передел Ойкумены, тайный и явный. Еще в Калидоне, в позапрошлом году, когда я увидел, как боевые друзья готовы вцепиться друг другу в глотки из-за шкуры вонючего вепря!.. Поколение обреченных, Антиклея. Поколение обреченных... Они ведь не просто режут друг друга, вспарывают чрево сестрам, травят детей и

отцов – навалившись плечом, они пытаются сдвинуть камни старых границ. Любой ценой. Сдвинуть. Перекроить. Сдвинут, не сдвинут – при любом раскладе им самим не найдется места в новых рубежах. А Глубокоуважаемые смотрят сверху, не понимая, что глядятся в зеркало. Или понимая – что еще опаснее. Но если ты уверена в своих братьях...

– Я уверена, Лаëрт.

Ветер еле слышно выводит нежную мелодию, вторя неумолчному шуму прибоя. Кифаред и флейтистка. Им обоим никогда не надоедает вечный дуэт.

– Я рад это слышать, Антикля. Впрочем, твой отец... твой покойный отец, – скрытая боль всплывает на поверхность моря и вдребезги, в брызги пены, расшибается о береговые скалы, – он знал, что делает, когда три года назад приехал на Итаку.

– Его привезли, Лаëрт. Уже тогда он почти не ходил.

– Он приехал. Ты понимаешь, о чем я? Надо плохо знать Волка-Одиночку, чтобы сказать: его привезли. Он приехал. По своей воле. Зная, что мой отец уже умер; что у Одиссея остался всего один дед. И взял нашего сына на колени не для того, чтобы сделать ему козу. Самый распоследний скорняк в глуши Лаконики знает: дед берет внука, объявляя о его принадлежности к роду.

– Я слушаю тебя, Лаëрт...

В шорохе ветра явственно пробивается тревога.

– Одиссей – наследник. Мой наследник, дважды признанный Автоликом: при жизни и в смерти. Лук – подтверждение для тугоухих. Пускай наш сын слышит неслышимое и говорит с несуществующим; важно, что он наследник по закону! Я пристально наблюдаю за ним – и сам, и через слуг. Надеюсь, с возрастом он станет яснее различать, в каком мире живет. Но в любом случае Одиссей – наследник. Твой отец всегда знал, что делает.

– И ты боишься...

– Да, я боюсь, Антикля. Боюсь, и мне не стыдно в этом признаться! Слишком многим Итака с ее влиянием на море – будто кость в горле! Слишком многие хотели бы ее сперва выплюнуть, а потом хорошенечко разгрызть и проглотить заново... Вчера я отказался плыть в гости к Нелею Пилосскому. Прав я или нет в своих подозрениях – я не поплыву на Большую Землю. Ежедневно видеть море и быть прикованным к жалкому клочку суши... что может быть больнее?! – но мужчина в первую очередь отвечает за свою семью. Пусть герои взваливают на плечи ответственность за судьбы Ойкумены! – я давно уже не герой. У меня семья. Никто из них не в состоянии сказать: у меня семья. Жены, дети – да! но не семья. Ты можешь себе представить обремененного заботами о семье Геракла? Персея Горгоноубийцу?! Тезея Афинского?! Язона-Аргонавта?! Даже у Орфея – не получилось...

Тишина.

И коротко, ясно:

– У них есть слава и нет семьи. А у меня – наоборот.

– Ты хочешь сказать, муж мой...

– Если, не приведи Гадес, я погибну, тебя на следующий день возьмет в осаду армия женихов. Все соседние острова, от Зама до Закинфа, а днем позже – и Большая Земля. Вдова Лаërта-Садовника... они будут убеждать всю Ойкумену, что мечтают о твоей красоте! они будут пить, жрать и врать так громко, что им поверят. Допускаю, среди них даже сыщутся один-два восторженных юноши, кто на самом деле полюбит тебя. Как любят символ. Но большинству будет нужен трон Итаки вовсе не из-за твоих чар. А Одиссей...

– В лучшем случае его оставят прозябать во дворце. Время от времени бросая подачки, словно шелудивому псу. – В посвисте ветра прорезалась отточенная черная бронза. – В худшем...

– Ты умница. Ты сама все понимаешь. Поэтому я больше никогда не покину острова. Есть и другие причины, но даже этой вполне достаточно. Впрочем, я все равно смертен. А ты

знаешь проклятие «порченной крови», лежащее на моем роду: в каждом поколении – только один мальчик. Наследник. И если, волей случая или злого умысла, он не выживет...

– Ты допустишь это?! – гневным эхом взрывается ветер. – Ты?! допустишь?!

– Хотел бы я сказать: «Не допушу!»... А еще больше хотел бы поверить собственным словам. Во всяком случае, с завтрашнего дня я приставлю к мальчику своего человека. Храброго, как лев, и преданного, как собака.

– И глупого, как осел? Чтобы его нельзя было подкупить или переманить? – Ветер едва заметно улыбается, игриво шелестя в серебристых листьях олив.

Ветер, он такой... вспыльчив, но отходчив.

– Ну, осел – это, пожалуй, слишком! – Прибой делает вид, что обижен, ухмыляясь в седую пену усов. – Но в твоих рассуждениях есть резон. Думаю, наш новый свинопас Эвмей подойдет в самый раз.

– Свинопас? – брезгливо морщит ветер гладь лужи, сбивая в складки отражение луны-Селены.

– Ты же знаешь, какие у меня свинопасы, – смеется прибой, облизывая подножия утесов. – Кроме того, Эвмей – свинопас от роду-племени. Можно сказать, родился при этом деле! Что ему приглядеть за лишним свиненком?... надо лишь проследить, чтобы они с Эвриклеей... ну, ты понимаешь, о чем я! Молодой горячий пастушок – и бывшая кормилица...

– Эвриклея по сей день хороша? не правда ли, мой базилей?

– Да. Она хороша по сей день.

– И ты так ни разу не возлег с ней на ложе? хозяин – с рабыней? служанки не соврали мне?!

– Что ты хочешь услышать, о многомудрая жена моя?

– Правду.

– А если мне, как мужчине, стыдно признаться в *такой* правде? Мужчинам привычнее хвастаться подвигами... даже если они их не совершали.

– Не мужчинам. Героям. А ты просто мой базилей... мой смешной базилей...

* * *

Сейчас я горжусь своим отцом, хотя мало кто способен найти в этом причину для гордости. Впрочем, пусть их. Папа, они ничего не понимают. Они дураки. Горделивые дураки, которые избыток силы зовут бессилием и пытаются подкинуть дрова разнообразия в угасающий костер. Даже я, твой сын...

Папа, я люблю тебя.

Но тогда вам с мамой было невдомек, что один хранитель-соглядатай у меня уже имеется. Мой Старик.

Строфа-II

Почем нынче девки на большой земле?

– Ты кто? как тебя зовут?!

– Эвмей, – сказал он. Потом взъерошил обеими руками воображаемую шевелюру, как если бы голова его была лишь недавно острижена на рабский манер, и добавил с непонятной мне гордостью:

– Понимаешь, базиленок... Я свинопас. Лаëртов свинопас. Ты не думай, я был хороший работник, пока не охромел...

Впрочем, нет. Не будем забегать вперед; не будем кидаться в воду и, захлебываясь пеной пополам с восторгом встречи, плыть к берегу, прежде чем днище заскрежещет по песку.

...Все началось с лисицы.

Лисица была не лисица, а лис. Рыжий, как мальчишка. Шкодливы́й, как мальчишка. И возраста они были почти одинакового – лис разве что на год-два постарше.

Матерый был зверь.

Забившись под куст, он визгливо рычал, ни в какую не желая делиться добычей: только что задушенной мышкой-полевкой.

– Собачка! хорошая собачка!..

Хорошей собачкой лис тоже не желал быть. Обитатель неритских лесов, впервые забравшись в этот сад, зверь нервничал и давно бы уже сбежал прочь, если бы мальчишка не загораживал единственный путь к бегству.

– Собачка!.. – Рука с растопыренными пальцами потянулась к зверю: сейчас собачка обнюхает ладошку, и они станут друзьями – оба рыжие, оба хорошие!

Где-то вдалеке басом залаяли настоящие собачки – итакийские пастушья волкодавы, кудлачи-душегубы, ценящиеся на рынках Большой Земли вровень с молодой рабыней-банщицей; и лис решил.

Подхватив мышку в зубы, он метнулся вперед, у самых Одиссеевых сандалий резко извернувшись и буквально разбрызгавшись в пространстве вспышкой искр. Наверное, будь на месте малыша ребенок постарше – успел бы испугаться. Уж больно стремителен оказался рывок. А случись вместо наследника бродяга-аэд или рапсод, кому песню сложить – что иному высморкаться... Вот уж есть где разгуляться, вспомнив, к примеру, гибель в огне опрометчивой Семелы-фиванки (при чем тут гибель, спросите? чья?! а мышка!..) или битву пламенного титана Флегия с Зевсом-Эгидодержавцем (Зевс и вовсе-то здесь ни при чем, но вы же их знаете, этих рапсодов! хлебом не корми!)...

Короткий свист.

Стук.

...и воровитый беглец споткнулся. Кубарем покатился со всех лап; застыл на траве с разбитой головой, пугая лисьего Таната мертвым оскалом. И опять же: ребенок постарше наверняка испугался бы. А этот не успел. Слишком быстро все произошло. Добрая собачка стала злой собачкой, теперь вот лежит, не шевелится.

– Шкурку надо снять, – деловито сказали из-за спины.

Одиссей обернулся.

Парень лет двадцати сворачивал в кольцо ремешок. Плетеный, из кожи. Красивый. Не парень красивый – ремешок. На одном конце ремешка была укреплена свинцовая гирька. Тоже красивая.

Блестящая.

Жаль, с краешка грязью измазалась: желтоватой, склизкой.

– Ты кто? как тебя зовут?!

– Эвмей, – сказал парень, сунув ремешок с гирькой за пазуху. Потом взъерошил обеими руками воображаемую шевелюру, как если бы голова его была лишь недавно острижена на рабский манер, и добавил: – Понимаешь, базиленок... Я свинопас. Лаëртов свинопас. Ты не думай, я был хороший работник, пока не охромел...

– Я не думаю, – поспешно сказал рыжий.

Он действительно не думал ничего такого. И в придачу ничего не понял. Лишь вздохнул с капелькой разочарования. Не герой. Не даймон-хранитель. Не бог-олимпиец, явившийся спасти великого Одиссея от ужасной напасти. Папин свинопас... раб. Мелькнула мысль: если хорошенечко попросить, то Эвмей подарит ему, Одиссею, свой замечательный ремешок. А если не подарит – уже не попросить, а приказать. Или нажаловаться папе.

Сам ведь сказал: я, мол, папин...

Тем временем Эвмей обошел мальчишку и присел на корточки над убитым лисом. Вынул из оскаленных зубов тельце мышки, зачем-то обнюхал по-собачьи; зашвырнул обратно в кусты. Когда он еще только шел к зверю, можно было заметить: парень хромает. Не так, как дядя Алким – раскачиваясь и едва ли не подпрыгивая при каждом шаге, будто птичка-вертишейка. Иначе. Размахивая руками, словно по-другому ему не удалось бы сохранить равновесие, и сильно припадая на правый бок.

Краб.

Шустрый краб на прибрежном песке.

– У тебя есть нож, базиленок?

Вопрос был задан серьезно, без малейшей тени шутки. Свинопас Эвмей пребывал в безмятежной уверенности, что у юного базиленка обязательно должен быть нож. А как же иначе? У Колебателя Земли есть трезубец, у Владыки Богов есть молния; у Гермеса-плута есть жезл-кадуцей, обвитый змеями, и крылатые сандалии – а у маленьких детей должны быть ножи. Кстати, само удивительное слово «базиленок» в устах Лаëртова свинопаса ничуть не таило в себе насмешки. Подтрунивания. Неуважения оно не таило тоже. Есть итакийский базилей Лаëрт; у него есть сын, наследник... итакийский базиленок.

Все в порядке вещей.

– Нету...

Одиссей расстроился. Ну почему, почему у него нет ножа?! К счастью, свинопас не стал дразниться. Лишь кивнул: дескать, ладно, нет так нет, позже добудем! – и извлек из-за пазухи короткое лезвие без рукояти.

Плоскую капельку черной бронзы.

Одиссей присел на корточки рядом; стал смотреть, как свежуют добрую злую собачку. Смотреть было интересно и немножко страшно. Совсем чуть-чуть. А на самого Эвмея смотреть было интересно и немножко смешно. Пегие волосы обрезаны на скорую руку, торчат во все стороны – не волосы, а перья. И на подбородке – перья. Жиденькие. А на щеках почти нету; это, наверное, потому, что щеки рябые, в ямочках с неровными краями. Не хотят перья расти в ямочках.

И глаза у Эвмея лягушачьи: навывкате.

– Ты молодец, базиленок. – Эвмей тряхнул снятой шкуркой, сунул ее туда же, за пазуху (ишь ты! не пазуха, а волшебная сумка Персея!); на животе, выше пояса, вздулась опухоль. – Не испугался. А я тоже хорош: дернись ты невпопад, как есть угодил бы по тебе! Плохой я раб. Нерадивый. Непредусмотрительный. А с плохими рабами что делают?

Нет.

Он по-прежнему не шутил. Задумался, ожидая подсказки от базиленка.

– Их наказывают. – Мальчишка почувствовал себя большим и умным; хозяином себя почувствовал. Ага, свинопас, простых вещей не знаешь?!

– Точно! – обрадовался Эвмей, безжалостно дергая перья на подбородке. – А как их наказывают?

– Н-ну... бьют их.

– Ух ты! Здорово! Так давай, чего ты ждешь?

– Я? что давать?!

– Давай наказывай меня. Бей!

Деваться было некуда. Сам ведь сказал, никто за язык не тянул... Без размаха Одиссей ткнул свинопаса кулачком в бок.

Бок оказался теплым и твердым.

– Да ну тебя! – В лягушачьих глазах Эвмея заблестели самые настоящие слезы. – Разве ж так бьют? По-настоящему давай!

Одиссей ударил по-настоящему.

И заорал во всю глотку, едва не свернув себе запястье.

– Басилеи не плачут, – мосластый палец Эвмея качнулся у лица, застыл живым укором. – И басилята не плачут. Где это видано: бьешь нерадивого раба, и сам ревешь в три ручья! Давай я тебе покажу... руку надо держать вот так...

К вечеру Одиссей уже сумел один раз ударить своего нового раба по-настоящему.

Ну, почти по-настоящему.

Для начала вполне пристойно.

* * *

...алеф, бет, гимет, далет, хе, вав... зайн, хет, тет, йод, мем... а дядя Алким говорит, что у финикийцев сперва не мем, а каф, и потом уже – мем... нун, самех, пе, шаде, коф, рех, шин, тав...

Скучища! Вот мама, она всегда ворчит: «Бедненький! бледненький! Мучают ребенка!...» – мама, она права, мама добрая, а они все мучают ребенка!

Учители-мучители!

Сегодня занятия у дамата Алкима казались Одиссею особенно нудными. Такое иногда бывало, и чаще, чем следовало бы: чтение, письмо и счет вызывали зевоту – того и гляди, скулы вывихнешь! В Пие, понимаешь, по велению Нелея Пилосского откормили три свиньи для всенародного празднества, в Метапе – четыре, а в Сфагиях лишь две... сколько всего свиней откормили для свиnorodного... тьфу ты! – для всенародного празднества?! Много откормили, ешь не хочу! Наконец счет-чтение, к счастью, остались позади, а к письму дядя Алким так и не приступил. Одиссей очень надеялся, что уже и не приступит. Ибо отец Ментора, увлекшись, принялся рассказывать детям о жизни на Большой Земле: какие там есть города, какие гавани, где живут магнеты, где – этолийцы, где – мирмидоняне, и кто с кем сейчас в союзе, а кто, наоборот, воюет.

Поначалу было интересно. Особенно насчет кто какой город захватил, а кому удалось отбиться. Но дядя Алким есть дядя Алким, и вскоре пошло-поехало: снабжение Тиринфской крепости ячменем, поставки в Аргос ввозной бронзы, конкуренция критских и микенских ювелиров, подготовка опытных атлофетов¹³ для Истмиад...

Одиссей чуть не заснул.

¹³ **Атлофет** – судья спортивных состязаний.

Он бы, наверное, заснул, если бы Ментор время от времени не пихал его локтем в бок. Наследник базилея Лаërта вскидывался с твердым намерением немедленно надавать белобрысой гидре тумачков, но вспоминал, где они.

В итоге гидра оставалась безнаказанной.

Пришлось ограничиться поимкой здорового рыжего муравья и запуском последнего Ментору за шиворот. После чего мститель минуту-другую давился от смеха, наблюдая, как ерзает приятель на скамье. Натешившись, один рыжий сбежал к своим муравьям, а второй вновь стал слушать дядю Алкима, едва удерживаясь от зевоты.

Эвмей, тот уже давным-давно заснул по-настоящему: улегся прямо под стеной, в тени – и засопел. Однако, когда Одиссею понадобилось отлучиться по малой нужде, рябой свинопас открыл один глаз, проследил, куда направился мальчик – и вновь отдал дань легкокрылому Гипносу лишь по возвращении базиленка.

Эвмею хорошо, ему спать можно. Ему учиться не надо – потому что он уже взрослый. А еще потому, что раб. Рабом, конечно, быть плохо – но, как оказалось, из всякого правила есть исключения. Ишь, дрыхнет, и ухом не ведет! Ленивый раб. Нерадивый. Не помогает хозяину всенародных свиней считать. Надо будет потом его отдубасить. Это Эвмей молодчина, правильно придумал: если что не так, господин должен своего раба бить. Вот пусть теперь пеняет на себя!

Он и пеняет... в тенечке, под стеночкой...

– ...от Нерея-Морского и Дориды, дочери Океана, родились нереиды, имена которых: Кимотоя, Спейо, Главконома, Навситоя, Галия, Эрато, Сао, Амфитрита, Эвника, Фетида, Эвлимена, Агава... Понтомедуса, Деро... Динамена, Кето...

Сейчас-то я понимаю: мудрый Алким не просто заставлял нас с Ментором заучивать имена нереид или количество мер зерна, поставляемых из угодий критского правителя в Фестскую и Кутаитскую области. Он учил нас думать. Складывать пустяк к пустяку, незначительное к малозначащему – и получать драгоценность. Не имена, а смысл имен, тайный и явный. Не родители, а наследственность. Чистота крови и преемственность власти. Не колебания цен на грубую полбу – причины, вызвавшие их. Не кто какой город взял или, наоборот, удержал – почему ему удалось или не удалось это сделать.

И стоила ли овчинка выделки?

Память ты, моя память... Когда с треском, оглушившим народы, провалился поход Семерых на Фивы, дядя Алким устроил нам игру. Взятие крепости; только, как выразился он сам, «по-взрослому».

Крепость мы строили два дня, общими усилиями. То есть строили мы с Ментором, изгаздавшись в грязи по уши, а дядя Алким руководил: где что должно располагаться. По сей день гадаю: откуда он, ни разу не выезжавший за пределы Итаки, был столь подробно осведомлен о внутреннем устройстве Семивратных Фив?! Побывал я в этих Фивах много позднее, побродил вдоль стен, башен, на верхних галереях постоял...

Все совпало, в точности!

А тогда, едва строительство твердыни было наконец завершено и «войска» вышли на исходные позиции, дядя Алким поинтересовался:

– Ну что, герои? Как город брать будем?

– Ворота вышибать надо, – солидно заявил я-маленький, понимая, что на этот раз Геракла в моем войске нет.

Самому придется.

– Славно, славно, – покивал дамаг Алким, ковыляя вокруг нас без видимой цели. – Ворота, значит? А какие именно? Пройтидские? Электрийские? Нейские? Афинские? Бореадские? Кренидские? Гомолоидские?..

Мы с Ментором задумались. Действительно, а какие лучше? Нам казалось, что – без разницы (или пускай Гомолоидские, у них название красивое!). Но раз дядя Алким спрашивает, значит, разница, наверное, есть.

Есть, да не про нашу честь.

– Нейские! – брякнул я наобум, в последний момент отдав им предпочтение перед Гомолоидскими. – Вышибли, и мечи наголо! А еще лучше на стенку полезем! Ого-го, сами боги меня не остановят!

– Ого-го! – радостно подхватил Ментор, прыгая на одной ножке.

Это он зря. Договаривались же: в присутствии его папы на одной ножке не прыгать. Зачем хорошего человека понапрасну обижать?

– Можно и ого-го, – снова кивнул Алким. – Например, герой Капаней из Аргоса так и сделал. Ого-го, и на стенку...

– Ну и как? – едва ли не в один голос поинтересовались мы с Ментором.

Дядя Алким грустно вздохнул:

– Похоронили героя Капанея.

Мне сразу расхотелось ого-го и на стенку.

– А если двое ворот выбить? – предложил Ментор. – И с двух сторон...

– Уже лучше. И все-таки: какие именно?

– Ну... вот эти и вот эти. Которые рядом.

– Значит, Нейские и Афинские? Валяй! – согласился дядя Алким. – А я пока оборону налажу.

Ментор смело двинул вперед раскрашенные фигурки «воинов». И, разумеется, в самом скором времени был наголову разбит собственным отцом.

– Мальчики, вы хотите воевать, как герои...

Дамат Алким, дотошный калека, я до сих пор помню твои слова! Тебя сейчас нет со мной, на ночной террасе, тебя вообще нет больше среди живых, но твоим голосом говорит со мной ветер, луна, вся моя короткая жизнь, которая истово хочет продлиться, став долгой и свободной от ярких событий!.. «Славно, славно...» – киваешь ты, ковыляя во мраке, и я киваю в ответ: действительно, как же славно, что мы, дети, внимательно слушали тебя – пусть внутренне протестуя, пусть не все понимая, но слушали!

– ...как герои. А герои выигрывают битвы, но не войны. Думаете, почему великого Геракла наголову разгромили в Элиде? Потому что среди объединенных сил пилосцев, спартанцев и элидян не оказалось героев, зато нашлись опытные лавагеты¹⁴. Под Писами бились люди с людьми – не боги, титаны или чудовища. Обычные люди, способные паниковать, истекать кровью, зубами вгрызаться в землю, не уступая и пяди. И Геракл отступил; впрочем, как я полагаю, ненадолго, ибо с некоторых пор он все больше человек, и все меньше – герой.

Дядя Алким остановился.

Почесал крючковатый нос, всегда сизый зимой.

Подытожил:

– Значит, надо учиться воевать, как это делают люди. В сущности ведь, у героя нет ничего, кроме предназначения. Их надо лечить или изгонять – а мы, глупцы, восхищаемся...

¹⁴ **Лавагет** – полководец, военачальник.

Все наше естество бунтовало. Кричало. Вопило. Спротивлялось. Мы хотели быть героями. Мы хотели совершать подвиги. Но двое мальчишек слушали дядю Алкима, только что не разинув рты. А может, и разинув – сейчас уже трудно вспомнить.

Столь необычно было сказанное им.

– ...Герой должен быть один, мальчики мои. Он обречен мойрами-Пряхами на одиночество. Воюет в одиночку, побеждает в одиночку и умирает тоже в одиночку. Потом люди помнят Героя – напроць забыв тех, кто помогал ему, был рядом, сражался и умирал плечом к плечу с ним. В этом сила, но в этом и слабость героя. В одиночестве. Ого-го и на стенку; ого-го – и в Вечность. Бултых! – круги по черной воде... Даже если собрать целую армию героев, каждый из них будет сражаться сам по себе. Это не будет настоящая армия; это будет толпа героев-одиночек. Жуткое, если задуматься, и совершенно небоеспособное образование...

Алким помолчал немного. Мы тоже молчали, не решаясь задать хоть один из множества вопросов, вертевшихся на языках.

Присохли языки.

– Люди живут иначе. И воюют иначе. У них зачастую нет телесной мощи героев. Им не покровительствуют родители-боги, вытаскивая из всех возможных и невозможных передрыг. У людей нет шлемов-невидимок, крылатых коней-пегасов и адамантовых серпов, закаленных в крови Урана. Люди смертны, люди уязвимы, терзаемы страхом вперемешку с сомнениями; людям приходится воевать по-другому. Там, где герой идет напролом или, воспарив на крылатом коне, обрушивает с неба на головы врагов огромные камни, люди ищут иные пути. Военная хитрость. Иногда, если надо, – подлость. Отвлекающий удар. Да, гибнут твои друзья, но их гибель – цена победы. Внезапные перемещения отрядов. Нападение из засады; удар в спину. Подкуп. Обман. Иногда мне кажется, что против этих способов бессильны даже Глубоко...

Дядя Алким вдруг осекся.

Резко сменил тон:

– Вернемся в Фивы. Давайте не будем сейчас рассматривать обманные маневры, засады, распускание ложных слухов, долгую осаду и ночные вылазки – ах, если бы Семеро не вели себя героями! Тогда бы они не погибли самым глупым на свете образом – геройски. А будь во главе войска опытный лавагет – не герой! один, а не великолепная, наивная семерка! – он бы поступил по-другому. О, он многое сумел бы придумать, наш уязвимый лавагет, но вам ведь, мальчики мои, интересно другое: как можно взять Фивы приступом?

Мы с Ментором дружно закивали. В общем-то, мы ничего не имели против засад, обманных маневров и ночных вылазок, но приступ...

О, это сладкое слово «приступ»!

Штурм!

– Тогда смотрите. Первый удар – отвлекающий; в Нейские, юго-восточные ворота, которые укреплены слабее других. Тут вы оказались правы. Любой ценой выбить их тараном; если не получится – выманить фиванцев ложным отступлением и завязать бой под стенами. В город сразу пробиться не удастся, но это и не нужно. Как только сюда начнут стягиваться силы обороны...

Алким начал уверенно передвигать раскрашенные фигурки внутри игрушечной крепости; и вот – гремя доспехами, бегут к Нейским воротам воины-фиванцы, сверкает медь на щитах, блистают наконечники копий, свист стрел, крики, звон и грохот мечей о щиты...

– Теперь же... Ментор, помогай!

Другой отряд нападающих неожиданно вырвался из-за рощи на холме. Бьет таран в Бореадские ворота, и створки трещат, болезненно вскрикивая под натиском; спешат на подмогу оставшиеся фиванцы, бросают резервы – отразить второй приступ...

– Одиссей!.. да, да, вот отсюда!

И лишь теперь, выждав нужное время, со стороны Тиресиевых пустошей, у северо-западных Электрийских ворот – без всякого шума, крика и грохота – объявляется третий, основной отряд. С ходу сметая немногочисленную стражу, атакующие врываются в город и бегут по улицам, не отвлекаясь раньше времени на грабеж и насилие, чтобы ударить в тыл... опрокинуть, смять, растоптать... подлю и неотвратно, как должны воевать люди, как умеют воевать только они!..

Даже сейчас я вспоминаю о «взрослых детских играх» с удовольствием. Тогда же, маленький и торопливый...

На удивление, тогда мне сильно помог мой Старик.

– ...нимфа Тайгета родила Лакедемона от Зевса-Дождевика; от Лакедемона и Спарты, дочери Эвроты (который сам был сыном Лелега и наяды Клеохарии), родились Амикл и Эвридика; от Амикла и Диомеды, дочери Лапифа, родились Кинорт и Гиацинт, возлюбленный Аполлона... сыном Кинорта был Пиреер, женившийся на Горгофоне, дочери Персея, – от их брака родились Тиндарей, Икарий, Афарея и Левкипп...

Однажды, наконец замучившись от обрыдшей мне игры в «отцов и детей», я спросил папу: «А мы? мы тоже полубоги?» Лаëрт-Садовник криво усмехнулся: «Что же мы, сынок, лучше других?»

Нет, папа. Не лучше.

Впрочем, потешное взятие Фив – это случилось позднее, а в тот раз...

* * *

...Скука и сон будто сговорились.

Брали приступом.

Одолевали.

Чтобы не дать подлым глазам окончательно закрыться, Одиссей начал смотреть на Старика, расположившегося за спиной дяди Алкима. Старик, по всей видимости, скучно не было: он слушал внимательно, время от времени кивал или, наоборот, хмурился, явно прикидывая в уме какую-то пакость; дважды одобритительно хмыкнул, а один раз, когда Алким мельком коснулся ввозных пошлин на благовония, пробормотал невпопад: «Это если не учитывать пиратов! Впрочем, сын Лаërта, платящий «пенный сбор»?!» – И Старик едва не расхохотался.

А Одиссею сразу стало интересно: отчего это он не должен платить какой-то «пенный сбор»? Оттого, что сын бaсилья Лаërта должен быть смелым и никого не бояться? Конечно, так думать было приятно, но Старик, похоже, имел в виду что-то другое. Надо будет спросить у него – как-нибудь потом...

Но интерес Старика к рассказу дяди Алкима раздражал.

Беспокоил.

Отгонял сон, как сам Старик отгонял беспокойные тени.

Одиссей прислушался внимательнее. Нет, интереснее не стало, но теперь Одиссей слушал из одного лишь упрямства. Если Старик считает, что это интересно и полезно, и дядя Алким, наверное, тоже так считает (иначе не рассказывал бы!), и даже Ментор слушает скрепя сердце – то что же это получается? Старик – умный. Потому что старый. Дядя Алким вообще самый умный, почти как папа. И Ментор тоже умным вырастет, наверное. Эвмей не в счет – он все-таки свинопас, пускай и очень веселый. Выходит, дядю Алкима не слушают только раб-свинопас и он, Одиссей? Выходит, Ментор вырастет умным, а он, Одиссей, дураком?

Фигушки!

Конечно, когда Одиссей вырастет, он станет басилеем, как папа, и великим воином. Героем! А как же иначе? Но дядя Алким всегда говорит, что воевать надо уметь в первую очередь головой. Тогда вернешься с победой и славой, а иначе – без головы.

Хорошо же! Он будет умным! Он узнает все, что знает дядя Алким, и станет таким же умным. Вот только спать очень хочется...

Рыжий упрямец вскинул голову сам, за мгновение до того, как усердный Ментор собрался в очередной раз пихнуть его локтем.

подавитесь!

Буду слушать!..

* * *

– Ну что, почему нынче девки на Большой Земле? – весело поинтересовался Эвмей, когда занятие окончилось и оба ученика радостно подбежали к свинопасу, больше всего на свете желая наконец порезвиться вволю – с Эвмеем это получалось как нельзя лучше!

И, неожиданно для самого себя, Одиссей, опередив Ментора, вдруг затараторил:

– Рабыни упали в цене чрезвычайно, и сейчас молодая швея на рынках Самоса стоит цену трех быков, а прядильщица лишь на полбыка дороже; зато в Пилосе...

– Ишь ты! – удивился Эвмей. Но быстро оправился и хитро подмигнул Ментору. – Во дает, базиленок! А я вчера такую девку на ночь отхватил... Безо всяких быков.

– Безо всяких? – усомнились мальчишки.

– Ну, один бычок при мне был, ясное дело... Правда, то на ночь, а то – насовсем.

– А папа говорит, когда мама не слышит, что насовсем – это надоест может, – сообщил Ментор, гордясь тайными познаниями. – Зато на ночь – интереснее.

– Ай, да мат! – сквозь смех с трудом выдавил Эвмей. – Ух, да мат! Орел! Мы, колченогие, завсегда...

– Мой папа орел! – гордо подбоченился Ментор, пропустив последние слова свинопаса мимо ушей, и Одиссею вновь очень захотелось надавать приятелю тумаков.

Сказано – сделано.

Антистрофа-II

Доброго пути и свежей воды!

...Было? не было?

– Двое мальчишек играют в песке, – однажды сказал Старик. – По всему ахейскому *Номосу*, год за годом, двое мальчишек играют в песке, и один из них – сумасшедший. Символ эпохи, можно сказать. Божий промысел.

Рыжий ничего не понял.

– Ты чего плачешь? – спросил у рыжего Ментор. – Палец занозил?

– Ага, – зачем-то согласился рыжий. – Палец.

* * *

Осень явилась самозванкой.

Пышная, сияющая, она раскрасила деревья в пурпур и золото плодов; небо налилось особенной синевой, приглашая бросить взгляд, как бросаются в море с Кораксова утеса – без оглядки, молитвенно сложив руки над головой, – и утонуть навсегда. Осень шла по Итаке, щедро рассыпая дары, а дядя Алким говорит, что перед войной рождается больше мальчиков, зато после войны – тем паче после многих войн – бывает хороший урожай.

Или это просто едоков становится меньше? – спрашивает сам себя дядя Алким, и сам себе не отвечает.

Зато папа сегодня пребывал в самом чудесном расположении духа.

– Это асфodelи, – Лаëрт наклонился, сорвал один цветок, бледно-алый с желтенькими прожилками. – Иначе: дикие тюльпаны. На, понюхай.

– Пахнет... – протянул Одиссей, послушно втянув ноздрями воздух, но так и не найдя подходящего слова, чтобы определить: чем именно пахнет бледный цветок-асфodelь.

– Да уж, пахнет. Небытием. Мне один хороший человек, спасибо ему, луковиц с того света привез... Жаль, их надо водой из Леты поливать. Были б тогда фиолетовые, с пятнышками; только нюхать их уже не стоило бы. А эта травка – с черным корешком, с белыми, медвяными цветочками! – называется «моли». Хочешь пожевать?

В вопросе отца явно таился подвох.

Маленький Одиссей отчаянно замотал головой. Меньше всего ему хотелось жевать травку с черным корешком и медвяными цветочками.

– Молодец. Если пожевать моли – будешь защищен от колдовства, порчи и дурного глаза. Но со второго раза возникает привыкание. Голова кружится, всякая блажь мерещится... Один хороший человек, когда мне рассаду привозил, предупреждал. А это у нас мак: тот, что ярче, посвящен Гипносу-Сладчайшему, а который почти черный – вырос на крови Прометея, в Колхиде. Знаешь?

– Ага, – кивнул Одиссей и с уважением посмотрел на клумбу темно-багряных, действительно едва ли не черных цветов. Сразу представилось: скала, титан Прометей висит на цепях, коршун терзает титанову печеньку, а внизу – точно такая же клумба.

И папа поливает маки из леечки.

Красота!

– А вот эта липа от семени гипподриады Липы-Филюры, матери кентавра Хирона... Когда ты прошлой зимой снега наелся и кашлял, наша мама тебя сушеным липовым цветом отпаивала. За два дня как рукой сняло! Спасибо одному хорошему человеку, еще до твоего

рождения достал семечко!.. уважил!.. А это яблоня Гесперид, вечерних нимф Заката. Только она у нас не плодоносит. Солнце мешает. Ведь у них, на Закате, сплошной закат, а у нас еще и восход покамест случается. Сохнет яблоня от восхода...

– Хороший человек привез? – на всякий случай спросил мальчишка. Хорошего человека он себе представлял... ну, хорошим.

Который папе все привозит.

Лаëрт засмеялся:

– Точно! В Микенах – дураки! – эти яблочки добыли да обратно вернули, а мне по дороге огрызочек случился. Привезли... порадовали!..

– Хороший человек!

Одиссей прошелся колесом: во-первых, от радости, во-вторых, чтобы папа увидел, как его сын умеет колесом ходить.

– Лучше некуда! Тут у нас, сынок, еще одна яблонька растет... Гранатовая яблонька. Есть в городе Баб-Или¹⁵ торговый Дом Мурашу, хороших людей там – пруд пруди. Один лучше другого. Вот, значит, саженец подарили, за услуги. Из земель хабирру¹⁶ доставили. Но и она не плодоносит. Говорили, ее каким-то змием укреплять надо, по стволу. Я и ужа пробовал, и гадюку, и другую гадину, что из Горгонских кудрей... ни в какую! Ну да ладно, поживем-поищем...

Ранняя лысина Лаëрта-Садовника вся покрылась бисеринками пота: от удовольствия, должно быть. Мол, поживем, поищем, найдем, а там очередной хороший человек еще чем-нибудь порадует...

– Это у нас лавр и гиацинты; оба, сынок, тоже хорошенько замешаны на крови. Удивительное дело: красота чаще всего вырастает, если ее кровью удобрять. Про Гиацинта я тебе рассказывал, как его метательным диском убило; а лавр – это дриада Дафна-покойница. Оба – неудавшиеся любовники... знаешь, мальчик мой, Глубокоуважаемым вообще редко везет с любовниками.

Лаëрт задумался о чем-то своем.

Добавил погодя:

– Да и с любовью, пожалуй, тоже.

...Осень шла по Итаке.

Память ты, моя память... папа, это я.

Я вернулся.

Я стою рядом с тобой-молодым и с собой-маленьким; я нюхаю асфодель и не хочу жевать травку-моли; я слушаю твою болтовню ни о чем – якобы ни о чем. Ты всегда любил поговорить о пустяках, о своем саде, куда «хорошие люди» отовсюду свозили чудесные, невозможные саженцы, семена и побеги; ты обожал эти редкие минуты именно за самое дорогое, что в них было, – за редкость.

Мама вечно бранилась, что ты уделяешь мне мало внимания. «Наша мама», как ты всегда называл ее в разговорах со мной; и капелька доброй лжи в этих словах была сладкой на вкус.

Наша мама была не права.

Просто твое внимание было направлено повсюду; оно было не таким, как у других, не столь заметным, не столь бесстыже-выпирающим – твое внимание.

Редким оно было, редким и дорогим, подобно бессловесным обитателям твоего сада.

Папа, это я. А это ты – невысокий, плотный, облысевший задолго до моего рождения, сразу после двадцати (мама смеялась, что любит только настоящих мужчин – малорослых и лысых; она всегда прибавляла, что настоящий мужчина еще должен быть толстым, как ее отец,

¹⁵ Баб-Или (Врата Бога) – Вавилон.

¹⁶ Хабирру – иудеи.

а тебе, Лаэрт-Садовник, всегда чуть-чуть не хватало до маминого идеала...); ты двигаешься неторопливо и косолапо, широко расставляя носки сандалий, стоптанных по краю подошвы.

Тогда мне казалось: ты похож на Зевса-Эгидодержавца. Просто другие почему-то не умеют замечать этого. Мне и сейчас так кажется. А другие... они по-прежнему не научились замечать.

Они только и умеют, что многозначительно переглядываться при упоминании имени Лаэрта-Садовника.

Лаэрта-Пирата¹⁷.

...Боги! до чего же глуп я был! той детской глупостью, что у взрослых сродни подлости. Ведь больше всего на свете я мечтал о благословенном дне – папа! прости!.. – когда ты наконец поедешь на войну. Я надеялся, что ты возьмешь меня с собой; и вот теперь я уезжаю на войну, прямоком в сбывшуюся мечту, и могу лишь кричать в ночную темень: «Папа!.. это я!.. спасибо тебе!»

Возвращаться трудно.

Кто знает это лучше нас с тобой, Лаэрт-Садовник, мой смешной лысый папа? – никто.

Кстати, о богах.

* * *

Маленький Одиссей ликовал. Бродить по садику вместе с папой было совсем не то, что бродить по садику без папы – пускай даже вместе с няней или Ментором. Но ехать с папой в северную бухту Ретру...

Мама ворчала.

Мама упрекала папу в легкомыслии.

Мама в конце концов поехала вместе с ними. Потому что базилия с домочадцами ждало празднество урожая. Одиссей не очень хорошо знал, почему празднество урожая надо справлять не в садике, а на пристани, да еще не в людной Форкинской гавани, а на дальней стороне бухты, где и корабли-то появляются редко, большей частью – поздно вечером. Но, видимо, папа под урожаем понимал что-то свое, недоступное маленьким мальчикам; и папино мнение разделяла куча народу, ибо берег бухты кишел людьми.

Малыш раньше никогда не видел столько людей в одном месте. Жаль только, что папа приехал не на колеснице, а на осле, усадив его, рыжего Одиссея, на колено. Ослик был хороший, он покорно трюхал по горным тропинкам все ниже и ниже, спускаясь к морю; сзади на другом ослике, толстом и корноухом, ехала мама, а за мамой шли служанки и няня Эвриклея. К концу пути Одиссею стало казаться, что колесница ничуть не лучше милых осликов, но он на всякий случай спросил об этом у папы.

– Колесница? – Лаэрт потрепал сына по знаменитым кудрям («Мое солнышко!» – часто ласкалась мама). И махнул свободной рукой за спину: туда, где курчавились порослью склоны Этоса. – Здесь?

Рыжий представил себе колесницу – здесь?! – и без видимой причины ему стало смешно.

Так, смеясь, и доехали до бухты.

– Свежей воды!

– Доброго пути и свежей воды!

¹⁷ **Пират** – слово греческого происхождения, использовано, в частности, в трудах Полибия и Плутарха; примерный смысл «совершающий нападение на кораблях».

Они выкрикивали пожелания, однообразно-громко, они самозабвенно вопили, и в ушах едва ли не всех явившихся в бухту мужчин – свободных, рабов, пастухов, кожевников, жнецов и пахарей – колыхались серьги: медные капли, у некоторых с жемчужиной или сердоликом.

Солнце играло в металле, брызгаясь зайчиками.

Щекотно.

...папа, мне трудно возвращаться. Я трюхаю помаленьку на ослике-ленивце, и давнее празднество урожая сливается со многими иными праздниками на Итаке, где мне довелось присутствовать – будто я не тащусь еле-еле, а мчусь изо всех сил, и виды по обочине дороги сливаются в сплошную обжигающе-яркую полосу.

Колесница?

Здесь?

Я-большой (а я большой?) отмечаю другое: по праву бәсйея ты резал жертвенных животных. Совершал возлияния. Отсекал у жертв языки и кропил их вином. Подымал чаши. Пронизносил слова.

Лаëрт-Садовник! почему, обращаясь к богам – к Глубокоуважаемым, как говорил ты и как вслед за тобой повторяли прочие итакийцы, – ты никогда не называл их по имени?

Не Посейдон, а Владыка Пучин, Морской Дед или Фитальмий, то есть Порождающий.

Не Зевс, не Дий-Отец – Скипетродержец, Учредитель или Высокогремющий.

Вместо Аполлона – Дельфиний или Тюрайос, Отпирающий Двери.

Не Гера – Волоокая, Владычица...

Сова взамен Афины.

Куда позже я заметил, что ты избегаешь имен далеко не всех богов – лишь Олимпийской Дюжины. Но избегаешь так, чтобы к тебе нельзя было придраться. Бывало, на Итаке гостили знатоки обрядов: ты открывал пиры в присутствии Навплия-Эвбейца и бәсйея святой Фокиды, ты устраивал общие моления, когда за спиной торчал этот желчный дылда, старший жрец из лемносского храма Дориды-Океаниды, приехавший лично поблагодарить тебя за богатое пожертвование. Сомневаюсь, что твои уловки вообще были замечены со стороны – люди будто превращались в слепцов, все, кроме дамата Алкима, чей взгляд в твою сторону я позднее не раз ловил.

Спокойный, понимающий взгляд, какой бывает меж людьми, посвященными в общую тайну.

Сейчас я тоже имею право так смотреть на тебя, папа.

Я дорого заплатил за это право. И не жалею. Ты ведь сумел выжить, Лаëрт, ты качаешься одиноким колосом среди опустелой нивы, ты сумел вернуться, никуда не уезжая; я, твой сын, тоже сумею.

Я, Одиссей, сын Лаëрта.

Хорошие вещи – они, как правило, дорогие.

В особенности оружие.

* * *

Сразу за дворцом с его знаменитым садом – точнее, за садовой оградой из белого известняка, в полтора человеческих роста – начиналась большая луговина. Испокон веку она приманивала разнотравьем коз и баранов, а бәсйей Лаëрт отнюдь не возбранял пастухам выпасать стада в крамольной близости от оплота итакийской власти. Более того: бление-меканье давно стало неотъемлемой частью общего хора мироздания. В конце концов, к чему хорошей траве пропадать?

И в горы плестись не надо...

Правда, сейчас, осенью, отары перегоняли дальше, в предгорья Нейона – пожировать напоследок; базилейские же «дюжины» – по двенадцать стад быков с коровами, овец, коз и свиней, принадлежащих лично Лаërту – объедали нейонские пастбища с весны. Зато по ту сторону изгороди образовывалось прекрасное место для игр. Не все ж наследнику в саду смоквы околачивать?!

Разумеется, под присмотром верного Эвмея и няни.

На этот раз мальчишек было четверо: Одиссей, Ментор, забияка Эврилох, сын Клисфена, сына Архестрата, одного из итакийских геронтов; и трусишка-Антифат, родичей которого Одиссей никак не мог запомнить.

Вчетвером играть куда веселее, чем вдвоем!

Будете спорить?

– Ты зачем его бьешь? – поинтересовался Эврилох еще по дороге, когда Одиссей как следует пнул идущего рядом Эвмея в ляжку.

– Это мой раб! Хочу – и бью.

– А зачем хочешь?

– А чего он мне в глаза пылит? Пусть не шаркает!

– Ух ты! – Эврилоха, записного драчуна, явно восхитила мысль, что, оказывается, можно на законных основаниях бить такого здоровенного дядьку, как рябой Эвмей. – А он на меня тоже пылит! Можно, я его тоже немножко побью?

– И я!

– И я!

На мгновение Одиссей растерялся. Но увидел, как просияло радостью простоватое лицо свинопаса, как он с мольбой воззрился на своего маленького хозяина – и все понял правильно.

– Можно! – последовало милостивое соизволение. – Разрешаю.

– Только давайте играть, будто он – циклоп-людоед, а мы – аргонавты!

– Точно! Мы на его остров высадились...

– А он нас съесть хотел!

– А мы его...

И тут Эвмей зарычал. Да так, что у настоящего циклопа-людоеда вся желчь от зависти выкипела бы! Зарычал, затряс головой, пошел, расставив руки и припадая на одну ногу – прямо на трусишку-Антифата. Антифат не понял, что игра уже началась, и испуганно попятился от свинопаса. Зато Одиссей с Ментором сразу все поняли; и вот уже двое доблестных аргонавтов отважно нападают на циклопа, желающего полакомиться их товарищем! Почти сразу же аргонавтам на помощь пришел чуть замешкавшийся Эврилох, а следом – устыдившийся своего малодушия Антифат, который теперь из последних сил стремился доказать приятелям, что он – тоже герой! не хуже других! а, может быть, даже лучше!

Будьте мужами, друзья! Да снискаем великую славу!

Кто побежит – тот девчонка!..

Поначалу нянюшка Эвриклея с тревожным неодобрением следила, как огромным крабом ворочается рябое чудовище, стряхивая с себя юных героев, как те раз за разом бросаются в атаку, молотя кулаками живучего великана – но потом не удержалась. Приснула втихомолку, присела под тенистой смоковницей, достав из корзинки взятое с собой рукоделие.

– Вот тебе, вот тебе! По зубам!

– Не ешь! не ешь людей больше!

– Гррры-оу-ааа! В корень – это правильно! молодец! В самый корень бей... Рррыхх!..

– Держи его! Убегает!

– За ноги, за ноги хватай!

– В глаз!

– Верно, в глаз! И пальцем, пальцем... Ыгррррах! У-у-у-у-у-у!..

Когда циклоп наконец был повержен, герои решили, что настала пора новых подвигов и что нехорошо всем бить одного. Эвмей был с этим категорически не согласен. Он как раз считал, что самое лучшее и есть, когда все – на одного; но возражения свинопаса оставили без внимания и перешли к обустройству честной битвы. К несчастью, уроки дяди Алкима помогли выяснить: пять на два поровну не делится – и Эвмею было разрешено отдохнуть.

А герои тем временем заспорили: кто из них будет братьями-Диоскурами¹⁸, а кто – Афаридами¹⁹? В конце концов Диоскурами выпало быть Одиссею с Ментором, а Афаридами – Эврилоху с Антифатом.

И грянул бой!

Доблестные воители, вооружившись луками и дротиками, устроили охоту друг за другом: скрываясь за кустами мирта и ракитника, устраивая короткие перебежки, подкрадываясь ползком – и после с громовыми кличами набрасываясь на врага из засады.

Эвмей некоторое время наблюдал за военными действиями.

Потом хмыкнул, огляделся внимательно по сторонам, улегся под кустом ракитника – и, похоже, заснул. Или сделал вид, что заснул, поскольку никогда нельзя было сказать с полной уверенностью: спит свинопас по-настоящему или только притворяется? Надо заметить, что рябой весельчак засыпал всегда и везде, как только для этого выдавалась свободная минутка. Иногда прямо на ходу, продолжая хромать в нужном направлении. Впрочем, так же мгновенно он и просыпался при первом подозрительном шорохе.

Собачья, славная привычка.

А вот о том, почему он предпочитает спать днем и что в таком случае делает ночью, Эвмей особо не распространялся.

Однажды попробовал, так нянюшка Эвриклея... ох и нянюшка!

Зевесов перун, не нянюшка!

Память!.. горькая память моя!..

Откуда было знать четверке мальчишек-итакийцев, что в это самое время в обильной зерном Мессении, у Могильного камня, схватились насмерть великие: Диоскуры с Афаридами, братья с братьями?! Что эхом игры – убийство? или это игра – эхо?!

Откуда было знать, что новое поколение – всегда эхо старого?! По всему ахейскому **Номосу**, год за годом, мальчишки играют в песке, и один из них – сумасшедший...

Символ эпохи – игра в смерть.

– ...Я тебя убил! Падай!

– А вот и нет, а вот и нет! Мимо! Стрела только хитон зацепила!

– На тебе, дротиком!

Однако от дротика Эврилох увернулся и бросился на врага врукопашную. Мигом подоспели двое других героев, и образовалась «куча мала».

Закономерный итог любой битвы.

– А давайте: один прячется, а трое ищут! – предложил всклокоченный Ментор, поднимаясь с земли в клубах пыли.

– Давайте! Как Зевс от своего папы Крона прятался!

Прятаться выпало Одиссею, и он азартно бросился прочь, пока остальные, отвернувшись и старательно зажмурившись, трижды проговаривали известную всей детворе считалку:

¹⁸ **Диоскуры** – братья Кастор и Полидевк, сыновья спартанского басилея Тиндарея и его жены Леды. Согласно традиции, Кастор был рожден Ледой от законного мужа, а Полидевк – от Зевса.

¹⁹ **Афариды** – братья Линкей и Идас, сыновья мессенского басилея Афарея, двоюродные братья Диоскуров; все четверо – бывшие аргонавты. В споре из-за угнанных совместно стад перебили друг друга.

– Вот у весел ждут герои,
Возле каждого их двое:
Здесь Тезей сидят с Язоном²⁰,
Мелеаг с Теламоном,
Рядом с Идасом – Линкей,
Вот Геракл, вот Анкей,
Полидевк и Кастор рядом,
Братья Зет и Калаид,
Обводя героев взглядом,
На корме Орфей стоит.
На дворе уже темно,
Мы идем искать руно!

Примерно на «Полидевке и Касторе» рыжий беглец кубарем скатился в небольшую ложбину, вскочил на ноги и побежал по дну, подыскивая укрытие.

«Пусть попробуют меня найти! Так спрячусь, что до вечера искать будут! А кто близко подойдет – я его из засады стрелой-молнией! ба-бах!»

Взбираясь по противоположному склону ложбины, Одиссей заметил глубокую рытвину.

«Или, может, еще подальше забраться?!»

– Давай сюда! Тут тебя в жизни не найдут!

Рыжий дернулся на голос, вскидывая свой игрушечный лук.

На верху склона стоял мальчишка. Ровесник или чуть постарше. Кучерявый; кучерявый настолько, что сам Одиссей рядом с ним был, будто лис рядом с ягненком. Этого мальчишку, одетого в нарядный хитончик без рукавов, Одиссей уже видел раньше. Впервые – в отцовском мегароне, на вручении дедушкиного лука; второй раз – в страшном сне про Ламию. И оба раза что-то в лице мальчишки казалось Одиссею странным.

Неправильным.

Однако сейчас сыну Лаërта было не до разглядывания лиц.

– Давай, забирайся, – кучерявый нетерпеливо дернул рукой. – А то увидят.

Во второй руке мальчишка тоже держал маленький игрушечный лук, а за спиной его висел колчан со стрелами.

Не заставив себя упрашивать, Одиссей через мгновение оказался рядом с кучерявым.

– Сюда! – Новый знакомец схватил его за руку, увлекая в просвет между двумя терновыми кустами. Терн рос настолько тесно, что, того и гляди, от нагнецов одни клочья останутся! Однако между кустами дети проскользнули выюнами, ни разу не оцарапавшись, и вскоре оказались на просторной поляне, сплошь окруженной шипастым частоколом.

...память!

Лишь сейчас, по возвращении на твой берег, я могу назвать по имени чувство, пожаром охватившее тогда маленького ребенка.

Я любил терновник, любил, как любят мать, отца, возделенную игрушку или еду, подкрепляющую готовые угаснуть силы. Я любил терновник, и шипы бережно коснулись детской кожи, а ветви расступились воинами, пропускающими вперед своего владыку.

²⁰ В разных областях в считалке упоминались разные аргонавты; полный перечень гребцов не использовался по причине громоздкости.

Так случилось.

* * *

– Тут они нас не найдут! – радостно сообщил кучерявый.

– Ага! – кивнул рыжий, оглядываясь по сторонам. – А я тебя видел уже. Тебя как зовут?

Кучерявый на миг запнулся, словно прикидывая, и Одиссей еще успел удивиться: разве можно забыть собственное имя?!

– Знаешь, зови меня Телемахом, – наконец представился кучерявый с откровенной гордостью. – Далеко Разящим.

– А я Одиссей! Сердящий Богов. Сын бәсиля Лаërта, – выпятил в ответ грудь наследник итакийского престола. – Ты здесь с кем играешь?

– С тобой, – пожал плечами Телемах.

– А ты один?

Одиссей плохо понимал, как можно играть одному. С друзьями куда интереснее!

– Один.

– Без взрослых?! – совсем уж изумился рыжий бәсиленок. – Тебя отпустили?

– Отпустили.

– Здорово... – Зависть оказалась горькой на вкус. – А меня одного не отпускают еще. С нами няня Эврикля. И Эвмей, мой лучший раб. Только он заснул. Кажется.

Телемах ухмыльнулся:

– Ну и пусть дрыхнет, соня!

– А давай с нами! – щедро предложил Одиссей.

Наверное, кучерявому наскучило одиночество. Надо обязательно принять его в игру!

– Потом... – неопределенно протянул Телемах. – Когда-нибудь. Лучше мы с тобой из луков постреляем.

Только сейчас Одиссей обратил внимание на лук Телемаха. Лук был маленький, детский, ненамного больше, чем его собственный – зато сделан так, что зависть выросла выше Олимпа! Получше иного настоящего! Тут тебе и хитрый изгиб, и полировка, и резьба – цветы всякие, и листики, в придачу разукрашены, как папина клумба! И накладки костяные, и даже тетива – подумать только! – разноцветная!

Радуга, не тетива!

– Ух ты! – не удержался Одиссей. Но тут же не преминул похвастаться: – А у меня настоящий лук есть! Во-о-от такенный! Мне его дедушка Автолик подарил! А тебе твой тоже дедушка подарил?

– Нет, мне – папа, – Телемах ухмыльнулся чему-то своему.

– Хороший у тебя папа!

– Ага. Мой папа – ого-го! Ну что, давай стрелять?

– Давай! А куда?

– А вон видишь – камень? А на камне – фигурка деревянная.

– Вижу.

В дальнем конце поляны действительно возвышался бесформенный ноздреватый камень. И на нем стояла фигурка – отсюда не разглядишь, чья. Но Одиссею на миг показалось: фигурка не деревянная, а золотая. Наверное, солнечный луч шутки шутит.

Оказывается, Телемах успел заранее подготовить мишень.

– Стреляй!

– Далеко-о-о... – протянул Одиссей; но, тем не менее, вскинул лук, натянул его до упора и выстрелил.

Для игрушки-самоделки и мальчика ростом в два локтя это был отличный выстрел. Тростинка-стрела с наконечником, обмотанным полоской меха, ткнулась в подножие камня.

– Я ж говорил – далеко! – развел руками Одиссей.

– Он говорил! – обидно расхохотался Телемах. – Смотри!

Кучерявый поднял свой разукрашенный лук. Медленно оттянул тетиву – и Одиссей даже не понял, в какой момент короткая стрела с бутонem розы, закрепленным вместо наконечника, прыгнула к цели.

Просто была стрела на тетиве – и нет ее.

Просто стояла мишень на камне – и уже не стоит.

Исчезла. Как ветром сдуло.

До камня мальчишки добежали одновременно. Искусно вырезанная и позолоченная фигурка юноши-лучника валялась на траве, стрела – рядом, а во рту юноша закусил алый бутон.

– Ну конечно, из такого-то лука... – со слезами в голосе протянул Одиссей.

– Хочешь, дам стрельнуть? – великодушно предложил кучерявый.

– Ага!

Стрела была поднята, мишень установлена на место, и Одиссей радостно схватил Телемахов лук вместе с новой стрелой-красноголовкой.

...Все вещи несут на себе отпечаток своих хозяев. Владельцев. Или мастеров, кто их сделал. Все, без исключения.

Но иногда это проявляется особенно сильно.

У меня ощущение «вещности» почему-то связано в первую очередь с луками.

Я почувствовал дрожь в теле, когда впервые взял в руки лук, завещанный мне дедом, Волком-Одиночкой. И то же самое произошло, когда я впервые коснулся лука кучерявого Телемаха.

Нет, не то же самое.

Иначе.

Мир налился красками, заиграл солнечным глянцем, умытый нянькой-дождем; мир заулыбался мне – и я невольно улыбнулся в ответ. Я любил этот мир! дождь! свет! Мне было хорошо в нем! И я не хотел обижать деревянного лучника-мишень, пронзая его своей стрелой – я выстрелил, любя.

Как не дано большинству.

Мишень качнулась и медленно завалилась на бок – стрела лишь игриво ткнула фигурку в бок, уносясь дальше.

Дескать: ну что же ты? Догоняй!..

– Неплохо для начала, – покровительственно заявил кучерявый Телемах. – Потом я тебе покажу, как надо стрелять по-настоящему!

И я совсем не обиделся на покровительственный тон; словно почувствовал – мальчишка имеет на это право.

Хотя, конечно, тогда я ни о чем таком не думал.

– А ты мне дашь пострелять из своего настоящего лука? – сразу поинтересовался Телемах.

Гордость наполнила меня до краев. Лук кучерявого просто замечательный – но дедушкин лук все равно лучше!

– Конечно, дам! – великодушно пообещал я.

Впоследствии я сдержал слово.

* * *

– Ты где прятался? Мы тебя искали-искали...

Одиссей покосился в сторону терновника.

– Вон там.

– Врешь! Мы тут все облазили! Не было тебя там!

– Там терн... не пролезешь... – Антифат вдруг запнулся, глядя на указанный Одиссеем проход. – Не было тут тропинки! Не было!

– Это у тебя глаз нету! Вот она!

За кустами все оказалось по-прежнему: ноздреватый бесформенный камень, истоптанная трава – только кучерявый Телемах с фигуркой-мишенью куда-то исчезли.

– ...Не заметили! – сокрушался Эврилох. – Голос даже твой слышали! Ты нас дразнил! Слепыми совами и этими... землеройками. По шее тебе за это надо...

Ему, Одиссею, – по шее?! От какого-то Эврилоха?! Во-первых, никого он не дразнил, а во-вторых...

– А ну, попробуй!

– И попробую!

Подоспевшей Эвриклее с трудом удалось разнять драчунов – пора было идти обедать.

**Эпод
Итака
Западный склон горы Этос;
дворцовая терраса (Сфрагида)**

...меня рвало прошлым.

До судорог.

До пены на губах; пока не пошла желчь.

Пловец, я вырвался из моря воспоминаний, разомкнул его цепкие объятия – куда погрузился сам, по доброй воле, в не очень здоровом уме и отнюдь не трезвой памяти; я бил руками по волнам событий, баламутил воду дней, тонул в былом и вновь всплывал на поверхность...

Я возвращался. Возвращался и уходил, уходил и возвращался, пока не перестал различать: где уход? где возвращение?

Где я?! кто я?!

А проклятый аэд-невидимка все скрипел в ночи стилосом:

– ...Вспухло все тело его; извергая и ртом, и ноздрями
Воду морскую, он пал наконец бездыханный, безгласный,
Память утратив, на землю; бесчувствие им овладело...

Измученный, я пластом лежал на спасительном берегу настоящего – на *настоящем* спасительном берегу?... – ожидая, когда вновь рискну вернуться в воды прошлого.

Я вернусь.

* * *

Зеленая звезда качается над утесами.

Стонет от ветра.

«Эй! тля-однодневка! видишь ли?!»

Кто из нас кому шепчет это?

– Я убью тысячу врагов! я!! тысячу!!!

Они там, внизу, у кораблей, полагают, что я сейчас разговариваю с богами. Я, их бацилей. Военный вождь. Иначе они не видят ни одной причины, почему бы мне не спуститься к ним, будущим соратникам, каждый из которых уверен в каждом, как копейная рука уверена в щитовой; действительно, почему бы не тискать податливых женщин, не пить вино и почему бы не кричать во всю глотку о заветной тысяче, только и ждущей, когда ты наконец придешь и убьешь ее – если, конечно, ты не разговариваешь с богами?!

В каком-то смысле они правы.

В прямом.

К глазам мало-помалу возвращается способность видеть.

Тень.

В углу террасы; у перил.

– Кто?! кто ты?!

– Я – твоя тень.

...это Старик.

Врешь! Ты не моя тень! ты просто тень!

Ты совершенно на меня не похож!

Дергаю плечом – насмешливо, с издевкой. Давай! повтори! раз ты моя тень!

Он сидит на корточках в углу террасы, невидимый никому, кроме меня; впрочем, здесь больше никого и нет.

Не хочет дергать плечом.

– Это ты на меня не похож. Пока.

И добавляет чуть погодя:

– Дурак. Если бы в самом начале я пришел к тебе по-другому – моей тенью был бы ты. Навсегда; без исхода. А так... я готов подождать.

Он готов подождать. Нет, вы слышите: моя тень, знаете ли, любезно готова подождать! А я не готов. Мне с рассветом отплывать на войну.

Меня проводили жена и любовница. Мою печень ждет самый шустрый копейщик в Пергаме²¹. А я не гордый. Я согласен ждать здесь. Я согласен самого шустрого с его копьем оставить кому-нибудь другому: громиле Аяксу-Большому, богоравному Диомеду из Аргоса или, на худой конец, моему другу детства Эврилоху.

– Согласен?

Да, Старик. Ты не ошибся. Согласен; целиком и полностью. Я, Одиссей Лаëртид, не стану бить себя кулаком в грудь и кричать, что готов положить душу за други своя, что заслону собой любого, лишь бы он жил, и с радостью отойду в Аидову мглистую область, утешаясь прощальными кличами товарищей.

Лучше я сам провожу их на погребальный костер; горе войдет в мое сердце, но не разорвет его. Я собираюсь жить. Я собираюсь выжить. Я собираюсь вернуться.

Мне девятнадцать лет, и я отправляюсь на войну.

Аэд-невидимка!

Что ты пишешь?

– Если уж коротки дни мои, годы ущербны —
Зевс-Громовержец, ты должен мне славы за это?

Вычеркни! разровняй воск! Зевс, не слушай дурака!!!

Напиши иначе:

– Я б на земле предпочел батраком за ничтожную плату
У бедняка безнадельного вечно и тяжело работать,
Нежели быть повелителем мертвых, простившихся с жизнью!

Меня тошнит памятью; и вместе с прочими я извергаю тот день, когда мне впервые стало *скучно*. Когда рассудок неугомонного мальчишки впервые превратился в ледяное лезвие, в капельку черной бронзы; когда я ощутил мой личный *Номос*, еще не зная истинного значения этого слова – душой, сердцем, нутром, тайной глубиной, куда ныряешь за смертью или прозрением.

²¹ **Пергам** – троянский акрополь (букв. «вышгород», кремль) – верхняя укрепленная часть города.

Это случилось в саду.

Я был один. «Одиссей! – позвала издалека мама. – Иди кушать!» Я оторвался от песочных башенок и внезапно почувствовал себя птенцом в скорлупе. Земля, небо, я сам – все слилось на миг в единое целое: отцовский дом с садом, луг, куда меня водили гулять, бухта Ретра, куда мы ездили на праздник урожая, небо над головой – свинцовое зимой, прозрачно-лазурное осенью, укрытое пеной облаков; люди – папа, мама, няня, рябой свинопас, друзья-мальчишки, дядя Алким... боги, чьи имена были для меня плохо понятны, но которым я молился, потому что ребенку сказали: так надо!..

Яйцо.

И я – внутри; в центре.

Яйцо пульсировало, грозя увеличиться в размерах или треснуть. Мне было скучно; нет! – мне *стало* скучно. Ушел страх, радость, боль и недоумение; холодно!.. холодно! Рыжеволосый мальчишка стоял в яйце, в своем личном *Номосе*, без слов понимая главное: я совершу все, что не позволит скорлупе треснуть.

Все, необходимое для спасения; в первую очередь, для спасения самого себя, ибо я – центр маленькой вселенной.

Ибо без меня моей вселенной будет плохо, потому что ее не будет вовсе.

– Одиссей! Иди кушать!

Я побежал на зов. Даже не зная, что видение ушло, а знание осталось. Оно, это новое знание, властно пело во мне: я! сделаю! все! Никогда больше я не дремал на уроках дяди Алкима, впитывая его слова, будто губка – воду; никогда не подходил к краю утеса ближе, чем следовало, убивая насмешки приятелей быстрым и обидным ответом; карабкаясь на скалы с риском сорваться, я вымерял риск грядущей пользой – окрепшими пальцами, чутьем тела, силой! даже совершая глупости, я понимал: это необходимо ради обретения опыта...

Нет.

Ничего я не понимал.

Я и сейчас-то мало что понимаю.

Мальчишка оставался мальчишкой, отнюдь не превращаясь в маленького старца. Но время трещин на скорлупе отодвигалось в туман неслучившегося.

Если б еще знать: потерял я или приобрел?!

...А ты, мой Старик? моя тень?

Ты ведь почувствовал, да?!

Иначе зачем ты послушался меня, когда я не позволил тебе отогнать явившегося однажды бесплотного бродягу; и даже помог мне в строительстве кенотафа?

А потом еще раз.

И еще.

Неужели ты знал: придет ночь, одна из многих, и я скажу:

– Я вернусь!

Песнь вторая

Один жених, одна стрела и дюжина колец

*И море, и Гомер – все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит.
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.*

О. Мандельштам

Строфа-I

Бей рабов, спасай Итаку!

Говорят, была у Сатира Аркадского волшебная раковина. Дунешь на гору – ужаснутся камни, вниз сбегут. Дунешь на море – ужаснутся волны, прочь отхлынут. Дунешь на небо – ужаснутся облака, кинутся врассыпную, а следом ветра-свистоплясы, а следом Гелиос-Всевидец, теряя на бегу лучи-сполохи.

Так вот, один итакийский козленок – почти взрослый, можно сказать даже, совсем козел – орал куда ужасней.

– Ры-жий! Ры-жий!

– Ря-бой! Ря-бой!

Мнения разделились.

И над всем этим гвалтом – истошное «М-ме! ммм-ммеее! ммме-е-еррзавцы!..»

Даже сейчас, едва вспомню: дрожь по телу... я вернулся.

Второй козел – совсем козел безо всяких «почти» и «можно сказать» – молчал, как мятежник-титан под Зевесовым перуном. Онемел; закусил бороду, полагая происходящее особым козлиным кошмаром, которому рано или поздно придется развеяться.

Ничуть не бывало.

– Рябой! жми!

– Ры-жий! держись, базиленок!!!

На бревне, перекинутом через ручей, раскорякой топтались двое чудовищ. Ну посудите сами: можно ли назвать людьми тех, кто взял сыромятные ремни да и прикрутил себе на спину по живому козлу?! Бедные животные простирали копыта к небесам, моля о пощаде, дергались, мотали рогатыми головами, а подлым мучителям хоть бы что!

В придачу еще и на бревно взгромоздились...

Вот одно чудовище – только и видно за рогами-космами, что ослепительно-рыжее! – присело еще ниже, едва ли не вцепившись босыми пальцами ног в кору. Потянулось лапой, достало, ухватило всей пятерней лодыжку соперника. На себя... еще...

Фигушки!

С тем же успехом можно было двигать Олимп.

Зато соперник, повыше вскинув своего козла, прихватил ладонью затылок рыжего чудовища. Надавил вниз и на себя.

Гиблое дело.

Брось, не срамись!

...Пошли руки навстречу друг другу.

Заиграли, заплясали. Убрать, прихватить, дернуть; дернуть, убрать, прихватить. Шустрей, пальцы! ловчей, плечи! не выдайте, локти! О коленках и речи нет: подломится невпопад – лететь брызгам радугой, божьей вестницей!

– Ры-жий! ры-жий!

– Мм-м-ме!

– Аааааааах!

Сдернули рыжего. Увлёкся. Припал коварный враг к бревну, подвела врага хромая нога; тут бы ему и конец, да вместо конца начало случилось. Долго объяснять, откуда что – короче, лети, друг-рыжий, в ручей.

Скучно рыжему самому лететь.

Обидно.

– Бей рабов!!!

И когда он пере-из-под-вывернулся?! когда вражьи щиколотки ухватить успел? – а, какая теперь разница... пальцы-крючья, мозоли из черной бронзы кованы, под ногтями белым-бело, хоть Гефестовыми клещами разжимай!..

Брызги – до неба.

Воплей – хоть оглохни.

Козлы... все.

– А на Большой Земле иначе... – с завистью протянул Одиссей, когда косматые жертвы были отвязаны и с кличем «Мм-мме-ммеееесть!» удрали к стаду. – Благородно; красиво. Дядя Алким говорит, там наследники в палестру ходят... в гимнасий!.. на колесницах!

– Это да! – невеста к чему согласился рябой Эвмей, жадно хватая кувшин с молоком.

Белые струи бежали по его пегой бородачке.

Чуть поодаль, у зарослей тамариска, валялась забытая кем-то кипа овечьих шкур. Бесформенная груда шерсти. Зрители-пастухи, шумно обсуждая потеху и разбредаясь малопомалу к шалашам, обходили кипу стороной. Собаки – и те крюка давали, пробегая мимо.

Лишь косились исподтишка.

Наверное, чуяли сидящего близ кипы Старика, незримого для остальных.

Сын Лаэрта встал. С наслаждением потянулся. Малорослый для своих тринадцати лет, он казался еще ниже из-за непомерно широких плечей. Смешное дело: в отличие от буйных кудрей, усы-борода у рыжего оставляли желать лучшего. Много лучшего. У его сверстников, тщательно взлелеянный кабаньим салом и тайными притираниями, на верхней губе закурчавился первый, наивный пушок – а тут хоть бы хны! ни в какую!

Зато грудь сплошь в солнечном сиянии волос.

И холка.

И даже на спине.

– Аргус! ко мне!

Кипа шкур лениво зашевелилась. Встряхнулась. Сверкнула глазом, налитым кровью, из-за лохм-занавесей.

– Я кому сказал?!

Ну ладно, ладно, подойду...

* * *

Аргуса мне подарил Эвмей.

Мне тогда стукнуло шесть, и отец позволил некоторое время пожить на пастбищах. Вольной, так сказать, жизнью; протесты мамы остались без внимания. Он никогда ничего не делал просто так, мой отец; и в его дозволении крылась тайная подоплека. На Большой Земле воцарился мир да покой – после того как великий Геракл прошел огнем и мечом от Элиды до Лаконики, сменяя погибших дрянной смертью басилеев на их двоюродных братьев или младших сыновей. Новоявленные правители, выжив чудом и будучи насмерть перепуганы внезапной ролью наследников, чесали в затылках и один за другим возводили храмы неистовому сыну Зевса. Наконец отпылали погребальные костры, удоблив пеплом измученную землю, Глубокоуважаемых умилоствовали грандиозными гекатомбами²², и женщины стали рожать больше девочек.

А на Итаку, к Лаëрту-Садовнику, начали чаще заезжать гости, у которых появилось свободное время.

Жизнь брала свое.

– Ты боишься, мой басилей?

– Нет. Я беспокоюсь. Оказывается, когда вместо твоих наихудших предположений сбываются надежды – это беспокоит. Вчера я подумал: надежда – самая живучая в мире тварь. Все сдохнут, а она подождет, чтобы умереть последней. Старые моряки говорят: «Кораблю на одном якоре, а жизни на одной надежде не выстоять...»

– Ты боишься, мой басилей.

– Нет. Я примеряю себе имя – Надежда. Лаëрт-Надежда. Это глупо, но если ты остаешься едва ли не один... Герой не должен быть один, Антикля.

– Ты не один. Ты не герой.

– Едва ли...

Мама с папой думали, что я не слышу.

Впрочем, мне и в голову не приходило, что, отсылая сына подальше – бывало, я проводил на пастбищах шесть-семь месяцев в году, лишь изредка навещаясь во дворец! – папа намеренно поддерживает миф о моем слабоумии. Миф? правду? – какая разница?! Зато стоустая Осса-Молва пела единым голосом: итакийский басилей стесняется наследника, пряча его в пастушьих шалашах от чужих глаз.

Другие басылята – Аргос! Спарта! Эвбея! Крит, наконец! – в палестру ходят.

В гимнасий.

На колесницах.

Да и в отцовских мегаронах частые гости: глядите, люди добрые, что за чудо-сына я вырастил! завидуйте! привыкайте к будущему владыке!

А здесь...

Вместо гимнасия я лазил по деревьям за сорочьими яйцами и карабкался на скалы Нерита, с боем добывая соты диких пчел. Вместо стадиона носился по крутизне утесов в запуски с молодыми пастухами. Вместо палестры сражался на бревне с Эвмеем, привязав к спине живого козленка. Бил рабов; благо вокруг были едва ли не сплошные рабы. Крепкорукые, украшенные шрамами; многие с серьгой в ухе, особенно кто постарше. Сперва бил руками и ногами; позже Эвмей-умник присоветовал воспользоваться палкой. Короткой палкой. Длин-

²² Гекатомба – жертва в сто голов скота.

ной палкой. Двумя палками: длинной и короткой. Палкой и ивовой корзинкой тоже бил. А нерадивость рабов возрастала день ото дня: поначалу они давали себя бить поодиночке, потом пришлось их лупить по двое, по трое за раз... дальше и вовсе рассобачились: стали уворачиваться, отбиваться, бунтовать, сами взялись за палки – длинные, короткие, гибкие из орешника, крепкие из ясеня...

Я был рачительным господином.

Я давил бунт в зародыше.

– Бей рабов!

...вот и бил.

Но вернемся к Аргусу. В мой самый первый год на пастбищах одноглазая сука Ниоба, гордость всех свор острова, в очередной раз принесла помет. От кудлача Тифона, который если и уступал силой знаменитому тезке-дракону, победителю Громовержца, то злобой он не уступал никому.

Среди щенят обнаружился урод.

Родившись без хвоста и, как позже выяснилось, без ушей, кутенок подтвердил в придачу отсутствие нюха. Положенный на дощечку, выставленную над ручьем, он бодро пополз вперед и сверзился в воду, откуда его никто доставать не собирался.

Никто, кроме рябого Эвмея.

Так у меня завелся Аргус. Я пытался кормить его молоком, давал сметану, но он отказывался. Лишь когда я нажевал ему поросятины, щенок лизнул палец, вымазанный мясной кашицей, и принялся жадно сосать. Через месяц, вернувшись с Аргусом во дворец, я стойко перенес гнев папы, ибо щенок, обнаружив-таки нюх и чутье, сожрал полклумбы какой-то особо ценной травы – но с этого благословенного дня случилось чудо.

Аргус потерял дар речи, напрочь разучившись лаять, рычать или скулить; он по сей день лишь хрипит, когда я чешу старого пса за ухом – зато жрать, подлец, стал за десятерых. Бесхвостый и безухий, немой и чудовищно лохматый, он непрестанно дергал култышкой, заменявшей псу благородный хвост, умильно заглядывал в глаза, клацал челюстями и пускал слюну.

Полгода пускал.

Год заглядывал.

Полтора года клацал.

Через два года Аргус, под одобрительное рычание своры, завалил собственного родителя, помогаясь благосклонности родной сестры. Дядя Алким сказал: царская собака. Впрочем, я не очень понял, что имеет в виду дядя Алким, как обычно говоривший загадками. Зато я хорошо понял, что значит быть богом.

Я был богом для немого Аргуса.

* * *

Сопровождаемый верным псом, Одиссей вразвалочку прошелся к границе пастушьего лагеря. Похромал на правую ногу; похромал на левую; вовсе перестал хромать. Такое с ним случалось – у Эвмея перенял. Когда глубоко задумывался, начинал хромать: столь же внезапно, сколь и переставал.

Только ноги путал.

Долго стоял у вечнозеленого маквиса-колючника, глядя перед собой и думая о своем.

Чего там было глядеть? тоже мне, Флегрейские поля после битвы с Гигантами! – овцы как овцы, козы как козы. Пасутся, щиплют травку. Бекают-мекают, курдюки наращивают. Молочком запасаются. Ниже по склону, где начинается дальний луг, коровник Филойтий трудится.

Храпит, аж горы трясутся. Вокруг Филойтия коровы валяются. Он средство знает: как наедятся буренки до отвала, так он их тесно-тесно сгоняет. Бок о бок. Коровы постоят-постоят и ложиться начинают.

Потом их Посейдоновым трезубцем не подымешь.

– Эвмей!

Со стороны моря ударил холодный порыв ветра, приник, обнял мокрыми крыльями. Но рыжий базиленок не стал ежиться. Не побежал кутаться в накидку. Стоит, как стоял: лишь в повязке на чреслах.

Привык.

– Эвмей, заешь тебя Сцилла!

– Здесь я, здесь...

– Сбегай, подыми Филойтия. Ночью отоспится. Скажи ему, пусть возьмет три лоха²³ лаконских щитоносцев. И быстрым маршем перегонит вон туда, в направлении Афин.

Рябой Эвмей почесал затылок, отнюдь не спеша исполнять приказанное. Тоже воззрился на лохи рогатых щитоносцев, на полководца-коровника; на Афины – две дикие оливы, украшавшие пригорок.

– Ты думаешь, базиленок...

– Ага. Думаю.

– А если дама Алким не примет боя и оставит Аттику?

– Разумеется, не примет. Что он, пальцем деланный?! В придачу, наверное, еще и Афины дотла сожжет. Мы его в Беотии прижмем, во время отступления, – грязный палец ткнул налево, в дальний край луга, где блестели умытыми боками пять-шесть валунов. – У Платей, ближе к Киферонским взгорьям. Возьмем в клещи; добычи захватим – немерено...

При упоминании о добыче Эвмей радостно заухмылялся.

И, припадая набок, ссыпался вниз по склону: «Филойтий! Филойтий, губошлеп! вставай! гони лаконцев в Аттику! у нас союз!..»

Одиссей, морща лоб, глядел вслед рябому свинопасу. Вряд ли рыжий всерьез задумывался, что, услышь их разговор кто посторонний – воистину счел бы обоих безумцами. Изрек бы глубокомысленно: «Кого боги желают покарать – лишают разума!» Не было здесь, на итакийских пастбищах, посторонних; да и считаться меж людьми безумцем сыну Лаërта было привычней, чем диву-дивному Химере на три голоса рычать-шипеть-мекать.

И потом: разве ж Одиссей виноват? Не виноват. Дело в дяде Алкиме. Это он такие игры придумал.

Потеряв возможность ежедневно мучить Одиссея своими наставлениями – а на пастбищах Алкиму с его ногой ну никак! да и дела у него во дворце... – хитроумный дама взялся донимать рыжего «домашними заданиями». В том числе войнами. На море; на Пелопоннесе, на Большой Земле – сперва поближе, затем подальше. Спартанцы против мессенцев. Аргос против Микен. Новый поход на Фивы.

Пастухи поначалу недоуменно косились на рыжего базиленка, бегавшего от склона к ручью с воплем:

– А здесь у нас течет Эврот! а это у нас Волчье Торжище в центре Аргоса! а тут...

Но мало-помалу в игру втянулись и пастухи. Особенно которые с серьгами. От них Одиссей получил кучу полезных сведений, и не раз потом ошарашивал дядю Алкима, то высаживаясь в тайных гаванях Афет-Фессалийских, то договариваясь с пройдохами-финикийцами, которые удавятся, а выгоды не упустят. По вечерам у костров устраивались военные советы; шел по кругу жезл – ольховая палка – дающий право высказываться. Спорили до хрипоты. А поутру отряды лучников, трясая курдюками, занимали боевые позиции на склонах; быки-

²³ **Лох** – подразделение спартанских воинов, около полутысячи человек. **Лохаг** – командир лоха.

гоплиты стеной вставали за правое дело, мыча боевой гимн, и бородатые козы колесницы окружали врага с флангов.

Свиньи в войне не участвовали, откупаясь поставками продовольствия, а овчарки олицетворяли народ, облаивая всех и вся.

Мрачный Аргус претендовал на роль тирана.

В самом начале нынешней весны дядя Алким решил сыграть по-крупному. С полчищами мидян он вторгся сперва во Фракию, а там, используя перекупленный им флот изменников-финикийцев, на Кикладские острова. Пока Одиссей тщетно пытался вовлечь Спарту, Микены и Афины в военный союз, лавируя между тупостью, гордыней и упрямством, дядя Алким успел захватить Хиос, Лесбос и Тенедос, а также разрушить до основания Милет.

Милет бы удалось удержать, если бы Алкимовы подсылы не подорвали боевой дух населения ложным оракулом:

– Время придет, о Милет, ты, зачинщик всех дел безобразных,
Станешь добычей для многих – доставишь роскошные яства,
Длинноволосым мужам твои жены мыть будут ноги...

Тогда Одиссей, вняв подсказке патриотов-свинопасов и примкнувших к ним коровников, решил вооружить рабов. Его тяжелая пехота вкупе с многочисленным рабским ополчением встретила дядю Алкина на Марафонской равнине, не дав времени опомниться и ввести в бой конницу – род войск, придуманный лично вредным Алкимом вместо общеупотребительных колесниц.

Враг был опрокинут в море.

Пастухи неделю гуляли, празднуя победу.

Тогда дядя Алким предпринял вторую попытку вторжения. Проведя совещание, Одиссей сперва хотел встретить незваных гостей в Темпейской долине – под нее, заранее договорившись с хлеборобами, выделили участок близ пахотных земель, где трава погуще, – но позже передумал, рассчитывая отойти к Истмийской линии укреплений. И зря: воспользовавшись колебаниями базиленка, дядя Алким внаглую прорвался в Аттику через Фермопильское ущелье, и Одиссей еле успел отвести войска, будучи вынужден пожертвовать заслоном из трех сотен доблестных спартанцев.

Оставался флот.

Пребывая в унынии, Одиссей решил было сосредоточиться на глухой защите берегов Пелопоннеса, но угрюмый коровник Филойтий, до того молчавший и не принимавший участия в битвах, вдруг вспылал праведным гневом. Заткнув всем глотки, он предложил сосредоточить корабли близ острова Саламина – тамошние проливы уже и теснее, чем ножны у девки-недавалки, сволочи-финикийцы застрянут в Элевсинской бухте, а дяде Алкиму, хоть лопни, не развернуться между островками Кеосом и Пситталией.

Заодно двое Филойтиевых дружков наладили на Афинских верфях строительство дипрор – двутаранных кораблей с окованными медью рогами на обоих штевнях. Рулевые весла на носу и на корме дипрор позволяли судам наступать-отступать с одинаковой легкостью.

Коровник оказался кругом прав: дядю Алкина на море ждал полнейший разгром. Пришлось мидянам, не солоно хлебавши, пехотурой отступать к Геллеспонту. Сейчас Одиссей подумывал основать морской союз, где ему бы принадлежала главенствующая роль – во избежание разногласий; а также не помешало бы ответное вторжение во Фракию.

Впрочем, пастухи единодушно были против вторжения, ибо оно сулило лишь политические выгоды, а добычей там и не пахло.

– Одиссей! да Одиссей же!

– Что?

– Парни вечером в Безымянную бухту собираются! на разгрузку! Пойдешь?

– А то...

...Аргус у ноги беспокойно заворочался. Не со злобой или раздражением – именно беспокойно. Это означало одно: на подходе нянюшка. Последовав за своим питомцем на пастбища, несмотря на уговоры хозяев, Эвриклея резко изменилась. Стала строже, суровей; добровольно взялась исполнять обязанности стряпухи, но того же коровника Филойтия, едва он ночью подкатился к нянюшке под бочок, унесли в помрачении рассудка.

Потом расспрашивали – что да как?! – молчит.

Он вообще у нас молчун, этот Филойтий...

А Эвриклею годы не брали. Ведь за тридцать бабе! а ходит! смотрит! не рабыня – богиня! Вот и сейчас: стоит рядом с рыжим базиленком, а на руке, вместо браслета, – змейка.

Живая.

Кольца вьет-кружит; жалом трепещет.

– Ты Эвмея за ногу зачем хватал? – спросила няня Эвриклея, рабыня из Черной Земли, купленная за цену двадцати быков. – Там, на бревне?

– Сама ж показывала...

– Я тебе, маленький хозяин, как показывала? я тебе, маленький ты хозяин, вот так показывала...

Легко присела.

Взялась за щиколотку рыжего.

Кончиками пальцев.

...охнул Одиссей. На колено припал, схватился голень растирать – судорогой мышцы к кости прикрутило. А змейка на нянином предплечье кольца вьет-кружит...

Антистрофа-I В каком ухе трещит?

– ...не повезло!

– Да ладно тебе!

– Нет, ты пойми, Эвмей! Я Итаку люблю, и отца люблю, и маму, и...

Похоже, Одиссей хотел сказать, что Эвмея он тоже любит. Или что ему хорошо с пастухами. Или еще что-то в этом духе. Но не закончил фразу. Негоже базилейскому сыну объясняться в любви рабу-свинопасу!

– Только там, на Большой Земле! там! там!.. Все по-другому. И не обязательно, если ты – наследник. Все приличные люди на Большой Земле своих сыновей... а, да что говорить!

Слова «приличные люди» явно были сказаны с чужого голоса. Рыжеволосый крепыш искося глянул на шагающего рядом Эвмея, затем перевел взгляд на угрюмого коровника Филойтия, двух его закадычных дружков, няню Эвриклею, увязавшуюся с мужчинами отнюдь не ради разгрузки... на троицу барашков, чья скорая и печальная участь не вызывала сомнений...

Коротко оглянувшись на отставшего Старика.

Вон он, толстый – тащится, на скалы зыркает, на мокрую гальку, словно у него что-то отняли, а возвращать не торопятся!..

Из всех спутников разве что Старик с няней могли произвести впечатление «приличных людей». Но Эвриклея – женщина, и к тому же рабыня; а Старика все равно никто, кроме Одиссея, не видит. Возможно, еще кучерявый приятель Телемах... но Далеко Разящего самого, похоже, видели не все и не всегда.

Да и он, Одиссей, сын Лаërта, из приличных ли?..

Подросток мысленно окинул себя взглядом со стороны.

Увы.

Коренаст, плечист. Ростом мал. Такого за красоту живьем на небо не возьмут, не быть ему Ганимедом, олимпийским виночерпием; да и в Аполлоны дорожка куда как далека. В лесные сатиры много ближе: вино хлебать, нимф по кустам заваливать. Огненные вихры давно нуждаются в гребне, но успели изрядно подзабыть, как онный гребень выглядит; глаза вечно щурятся, будто замышляют невесть какую хитрость. А рожа вся (ну, не вся! только справа!) терновником исцарапана. Хламида из оленьей шкуры, вдобавок некрашеной; ремни на сандалиях вдрызг облупились, левая подошва с дыркой, пора менять, а выкинуть сандалии жалко – привык...

Ну, серьга еще в ухе – так у пастухов тоже серьги. Правда, у него – *железная!*..

С серьгой история была давняя и прелюбопытнейшая.

В первую свою бытность на неритских выгонах юный базиленок мигом перезнакомился с оравой пастухов и подпасков – обратив внимание, что не все, но многие из них носят серьги. Причем одинаковые, в форме вытянутой медной капельки; и непременно в левом ухе.

– Хочу! – во всеуслышанье заявил Одиссей. – И я такую хочу!

Няня Эвриклея взялась шептать на ухо наследнику, что негоже базилейскому сыну носить рабские украшения, и рыжий мальчишка уже готов был согласиться; однако выяснилось, что пастухи успели тем временем посоветоваться между собой.

И выступивший вперед коровник Филойтий буркнул:

– Будет тебе серьга, парень! Настоящая, базилейская!

В скором времени коровник принес уж незнамо где добытую золотую капельку с прокол-кой-застежкой. Такую же, как у всех, но – золотую!

Одиссей мужественно терпел и совсем не хныкал-ойкал, когда Эвриклея прокалывала ему мочку левого уха, не доверив важное дело никому из пастухов. С неделю сын Лаërта щеголял обновкой, нарочито поворачиваясь левым ухом даже к ягням в загоне – любуйтесь! ага, баранина! Дальше привык и перестал обращать на серьгу внимание.

Вспомнив о ней, лишь когда настало время возвращаться домой.

– *Что скажет папа?!*

Однако итакийский базилей Лаërт не только не отчитал сына и не наказал пастухов за глупость и самоуправство. Наоборот: отнесся к новому украшению с крайним одобрением. А на следующий день Одиссею вручили точно такую же капельку с застежкой, но – железную! Вот это уже было поистине базилейское украшение! Даже у папы с мамой имелось не так много настоящих железных вещей. А золото – что? Подумаешь, невидаль! Золотые цацки у любого состоятельного горожанина есть...

Вот железо – это да!

А золотая капелька, подаренная пастухами, с тех пор хранилась в особой шкатулке, куда маленький Одиссей складывал свои детские «драгоценности»: красивое перышко сойки, блестящие цветные камешки, перламутровые раковины. Конечно, у него были и настоящие драгоценности – отец не слишком баловал сына, зато отцовы гости с Большой Земли и других островов не скупились на дорогие безделушки.

Однако их подарки мало волновали рыжего сорванца. Ну, золото или там серебро. Ну, красиво. Ну, повертел в руках, полюбовался. Потом стало скучно. Сунул в ларец и забыл.

Зато золотая серьга-капля была *своей*. Совсем другое дело.

Иногда Одиссей даже вдевал ее в ухо вместо железной.

Однако сейчас в мою мочку была продета именно железная серьга.

Дар отца.

Разумеется, я-маленький понятия не имел, отчего папа одобрил такое, едва ли не варварское, украшение! Но пастухи решили правильно. Знали, что делали. И знали, что базилей Лаërт не станет возражать.

Впоследствии серьга-капля не раз сослужила мне хорошую службу...

* * *

...короче, сам Одиссей на приличного человека тоже не больно-то смахивал, несмотря на серьгу. Такие, как он, не ходят в палестры-гимнасии, таких не учат специально нанятые учителя; один – грамоте-счету, другой – игре на лире или флейте, третий – кулачному бою, четвертый – колесничному делу...

Такие, как он, небось, даже во тьме Аида бродят где-нибудь в захолустье, избегая встреч с приличными теньями.

– Брось горевать! – хлопнул парня по плечу Эвмей. – Если б меня во младенчестве не сперли... небось, тоже бы по палестрам ошивался. У героев всяких учился, у богоравных...

– Они там и на колесницах ездят, и на мечях настоящих дерутся, и на копьях! вместо камней диски кидают... – Одиссей наусупился.

Замолчал.

Жизнь определенно не складывалась. Ему, Одиссею, похоже, придется до конца дней просидеть на Итаке, заниматься торговлей, жениться, шлепать детей по голым задницам... И никаких подвигов, славы, блеска начищенной бронзы. Все самое интересное происходило далеко, на Большой Земле. Да и там-то, честно говоря, уже мало что происходило. Он не успел. Опоздал родиться. Чудовища, в которых и верилось-то слабо, перебиты великим Гераклом со

товарищи задолго до его, Одиссеева, рождения. Эпоха войн, сотрясшая до основания – не хуже Колебателя Тверди! – Большую Землю, также миновала. Сполна отомстив за убитого брата, Геракл наконец утихомирился и теперь сидит в своем Калидоне с молодой женой, ни в какие походы явно не собираясь.

Говорят, он с ума свихнулся.

Окончательно.

Наверное, правда. Иначе с чего бы Гераклу вместо новых подвигов...

Помнишь, папа: «Ты можешь себе представить обремененного заботами о семье Геракла?» Так сказал ты однажды, не зная, что я вернулся и подслушиваю из мрака будущего. Сперва мне показалось, что ты ошибся: вот же он, Геракл, в Калидоне Этолийском, с женой Деянирой, – тихий, мирный, хозяйственный...

К сожалению, папа, ты редко ошибался. Мы много чего не могли себе представить. Я, в частности, не мог. Например, я тогда даже не представлял, что пастухи в Беотии или Мессении отнюдь не обсуждают вечером у костра способы крепления весел в ременных петлях.

Или разницу между критским и малым сидонским узлом.

Почуввав настроение хозяина, трусивший рядом Аргус придвинулся ближе. Потеря теплым лохматым боком о хозяйское бедро, словно успокаивая: «Я здесь, я рядом, если что – рассчитывай на меня!»

– У нас на колеснице не разгуляешься, – задумчиво протянул Эвмей, хромая больше обычного. – Это верно. Зато насмотрелся я на этих, из палестры, при abordage! Мечишком машет, «Кабан! – вопит. – Кабан!...»; а ему, кабанчику, крюк в шею – и приплыли. Откричался. Не печалься, базиленок, дома тоже неплохо. Слушай, – он резко понизил голос (чтоб не услышала няня, сразу понял Одиссей), – давай я тебя к девкам свожу! Разом никуда не захочется! Здоровый парень! я в твои годы, базиленок... знаешь, есть в Афродитиных храмах такие чушки – иеродулы! любому дают! а по большим праздникам, в честь Пеннорожденной...

Дальше Одиссей слушать не стал: рассказы Эвмея о девках, бабах и соответствующих подвигах на сей стезе были ему хорошо известны. Впрочем, наблюдения подтвердили: слова у Эвмея редко расходились с делом. А вот само предложение свинопаса вдруг показалось заманчивым. Даже волнующим. Так что на некоторое время мрачные мысли о жизни, впусую проходящей мимо, напрочь вылетели у парня из головы.

Но все-таки: у них там даже иеродулы есть, а у нас...

* * *

– Радуйся, Фриних! Помощь пришла!

– Давай, что тут у тебя?

В сумерках черный просмоленный корпус корабля казался выползшим на берег морским чудищем-гиппокампом. Приподнятая верхушка кормы, сделанная в виде пучка птичьих перьев, схваченных имитацией броши, только усиливала сходство. Сейчас чудище, утомившись, дремлет, но докучливые людишки непременно его разбудят: вот-вот зверь заворочается, взревет, прочищая глотку – и кинется на обидчиков!

Одиссей встряхнулся. Корабль как корабль. Правда, разгружается не в Форкинской гавани, и даже не в Ретре, а здесь, в Безымянной бухте, у самой вершины залива. Рядом располагался Грот Наяд, хорошо известный многим итакийцам – моряки всегда жертвовали морским девам поросенка и горсть маслин, уходя в плаванье. Пастухи с серьгами тоже наяд не обижали; навещали, таскали приношения. Значит, так надо – здесь причалить, здесь разгрузиться. Значит, мореходы кормчего Фриниха не хотят привлекать лишнего внимания. Может,

груз какой особый привезли. Вон, в прошлый раз отцу опять редкостные саженцы с семенами доставили.

Хорошие люди передали.

Работы рыжий подросток не чурался, да и приятно было почувствовать собственную силу. Ощутить, как играют, наливаясь и твердея, мышцы, когда взваливаешь на спину тяжеленный сундук и топаешь по скользким камням (сохранять равновесие? пустяки, это Одиссею было раз плюнуть: впервые, что ли?!) – а потом сваливаешь груз в общую кучу, наравне со взрослыми моряками!

Дело нашлось всем. Даже няне Эвриклее, которая мигом принялась наводить порядок, заставляя моряков стаскивать остродонные пифосы – к пифосам, мешки – к мешкам; сундуки – отдельно; амфоры с вином – тоже отдельно... а, это не вино? масло? – тогда сюда!

Моряки посмеивались, зубоскалили, но слушались, в результате чего бесформенная груда всякого добра очень скоро превратилась в настоящий упорядоченный склад.

Мачту кормчий с двумя помощниками тем временем успели снять и уложить рядом на берегу. Когда разгрузка была закончена, настал черед вытаскивать на берег сам корабль. Навалились всей толпой, уперлись плечами в просмоленные борта, закрипел под днищем мокрый песок...

– Еще наддай!

– Пошел! Пошел!

– Ну, еще немного!

– Наддай!..

Одиссей упирался и толкал вместе с командой, радуясь, что смолили буковую обшивку корабля достаточно давно, и смола уже не мажется. Впереди сопела какая-то черная тень, почти неразличимая на фоне темного провала грота и смоляного борта.

– Коракс²⁴, ты? – скорее угадал, чем узнал Одиссей.

– Я, маленький хозяин! Вот, вернулся, да! – весело оскалилась из темноты белозубая ухмылка.

Почти сразу послышался зычный окрик кормчего Фриниха:

– Порядок! Разжигай костры, готовь ужин!

– Радуйся, маленький хозяин, да! – перед Одиссеем возник старый знакомец, эфиоп Коракс, прозванный Вороном за необычный цвет кожи. Настоящего его имени – М'Мгмемн – никто никогда выговорить не мог.

Даже не пытались.

У них там, у этих черномазых, на краю света, где клубит седые пряди вод титан Океан, обтекая Ойкумену, и Посейдон-Конный заезжает на пир без чинов, попросту... Короче, не имена у них – сплошное недоразумение!

– Ты где пропадал, Ворон? – напустился на него наследник итакийского престола. – Небось, новостей сто талантов²⁵ привез? Давай, выкладывай!

– Привез, да! – еще шире (хотя это казалось невозможным!) расплылся в улыбке эфиоп. – Мимо Сидона плыл, мимо Крита плыл, мимо Родоса плыл, мимо Эвбеи тоже плыл – да! О, слушай, маленький хозяин: главная новость, да! Корабль с Эвбеи шибко бежит, на Итаку. Завтра небось добежит. Дядя Навплий сына женить везет, да!

²⁴ **Коракс** – ворон (*греч.*). На Итаке Кораксов утес был назван в честь Коракса-Ворона, сына нимфы источника Аретусы.

²⁵ **Талант** – мера веса, около 26 кг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.